

A521

кр.

Б847687



АЛТАЙ

1923

4

Электронная библиотека
Центральной библиотеки
Иркутского государственного
университета



847687

Ольга Плотникова — модель
среди девушек-механиков

2/8

АЛТАЙ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ АЛЬМАНАХ
АЛТАЙСКОЙ КРАЕВОЙ
ПИСАТЕЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Год издания XXIV

№ 4 (67) 1973

В НОМЕРЕ:

Михаил ГУСЕЛЬНИКОВ. Вес хлебного колоса	3
Евгений КОЛЕСНИКОВ. Иван — человек. Повесть	7
Владимир КАЗАКОВ. В разгаре нынешнего лета. Был и есть переулоч. «Оглушен, опрокинут и смят...». Шофер. Июнь. «Уже отрешен, неприкаян...». «День нынешний...». «Прости меня, милая...». «Осенний ли ветер...». «Все чаще ухажу искать в поля...». «В полях моих...». Стихи	21
Евгений ГУЩИН. Тень стрекозы. Рассказ	25
Петр БОРОДКИН. Из цикла «Исторические рассказы о Барнауле». Федор Геблер. Добрый доктор	44

ОЧЕРКИ И ПУБЛИЦИСТИКА

Иван ОЛИФЕРОВСКИЙ. Уймонские портреты. Очерк	53
--	----

К СЕМИДЕСЯТИЛЕТИЮ А. Л. КОПТЕЛОВА

Георгий КОНДАКОВ. У колыбели песенного слова	59
--	----

ИЗ ПРОШЛОГО НАШЕГО КРАЯ

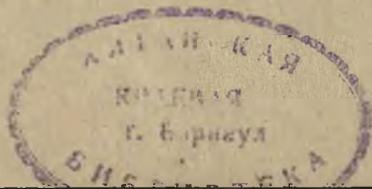
Владимир КОМАРОВ. Легендарный главком	63
---	----

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Виктор СЕРЕБРЯНЫЙ. Обеспечено жизнью	68
--	----

ПОИСКИ И НАХОДКИ

Ольга НЕЧУНАЕВА. Алтайское Лито	70
---	----



САТИРА И ЮМОР

Михаил ПРОКОПЧУК. Везут шпалу. На утренней зорьке. Стихи 72

ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Татьяна УШАКОВА. Времена года. Стихи 73

Содержание альманаха «Алтай» за 1973 год 75

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

П. БОРОДКИН,
Н. ДВОРЦОВ,
И. КАЗАНЦЕВ,
И. КУДИНОВ (гл. редактор),
Л. КВИН (зам. главного редактора),
Г. ЛИСЕНКОВ,
Ю. МАЙОРОВ,
Л. МЕРЗЛИКИН,
В. СИДОРОВ,
М. ЮДАЛЕВИЧ (зам. гл. редактора).

На первой странице обложки гравюра А. ВАГИ-
НА «Трубы заводские». На второй и третьей
страницах обложки фото Б. БРЯЗГИНА.



847687

АЛЬМАНАХ «АЛТАЙ» 1973, № 4

Художественный редактор Б. Лупачев. Технический редактор М. Сафонова.
Корректоры А. Дмитриев, Н. Тырышкина

Рукописи не возвращаются

АГ 00282. Сдано в набор 18. X. 1973 г. Подписано к печати 23. XI. 1973 г.
Формат 84 × 108/16. Бумага тип. № 3. Усл. печ. л. 7,98. Уч.-изд. л. 9,46. Тираж 7000 экз.
Заказ № 2061. Цена 40 коп. Алтайское книжное издательство Государственного коми-
тета Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной тор-
говли — Барнаул, Ленина, 76. Типография № 1 Управления издательств, полиграфии
и книжной торговли крайисполкома — Барнаул, Л. Толстого, 29.

Адрес редакции: Барнаул, 56, пр. Ленина, 8. Телефон 95—4—21.

22



Михаил ГУСЕВ,
механизатор совхоза «Сорокинский»,
Герой Социалистического Труда

ВЕС ХЛЕБНОГО КОЛОСА

Когда меня попросили выступить, поразмышлять о земле, о хлебе, признаться, я был немало озадачен: а что же говорить? Мое дело — обрабатывать землю, хлеб выращивать, а уж то, как это у меня получается, оценят другие. Да и то сказать, вес хлебного колоса всецело зависит от наших усилий, умения, любви к земле, хотя и мы, хлеборобы, не застрахованы от неудач. Климатические условия в нашем крае таковы, что надеяться на милость природы не приходится.

И коль приступил, скажем, к севу или к уборке, будь добр — выкладывайся весь, без остатка, работай не жалея сил.

Принято считать, что основная борьба за хлеб выпадает на время жатвы, когда день и ночь гудят на полях комбайны, а по дорогам пыль столбом стоит от спешащих на элеватор машин. Слов нет, жатва и впрямь венце всего дела, последнее, так сказать, генеральное сра-

жение, в котором главная роль, как рядовому великой армии, отводится хлеборобу, будь он комбайнером или трактористом, заправщиком или шофером. Известно, что уборочная страда начинается задолго до того, когда забронзовеет, нальется тугой, полновесною силой хлебный колос. В нем, в колосе этом, слава и мощь нашей Родины, лучшие помыслы и надежды земледельца, сгусток его энергии, бессонные и тревожные ночи, творческие поиски, да, я не оговорился — и творческие.

Хлеб! Произнесешь вслух или мысленно это с детства знакомое и дорогое слово, и встают перед глазами родные просторы, и обдаст тебя духовитым запахом поля, и послышится волнующий звон и шелест созревающей нивы. Твоей нивы! Запах твоего хлеба! И в который раз поймешь, что нет более высокого счастья, нет благодарнее доли, что выпала тебе: растить хлеб, болеть за него, знать и понимать цену ему.

Уже сорок с лишним лет я живу на земле. И большую половину из них — наедине с полем. Почему наедине? Да потому, что каждый из нас, кому выпало судьбой пахать и сеять, косить и жать, в конечном счете остается один на один с пашней. И от того, какая у него дружба с землей, какое отношение к своему делу, и зависит урожай. Любишь свое дело, свой труд — значит, отблагодарит тебя земля. Делаешь свою работу равнодушно, абы как — не обижайся: встретит тебя осенью пашня пустым и невеселым звоном неудавшегося колоса.

Твой хлеб, твоё поле — всего лишь маленькая капля в хлебном океане района, края, республики, страны. Но ты все равно на виду, все равно заметен. И это о тебе, о каждом из нас, и в то же время это мы, наши мысли и думы звучали с трибуны XXIV съезда КПСС, делегатом которого посчастливилось быть и мне. На всю жизнь я запомнил и внимательную тишину в зале съезда, и деловитую собранность делегатов, посланцев народа, и знакомый по многим выступлениям голос Леонида Ильича, докладывавшего о тех мероприятиях, которые предусматривались партией и правительством в целях еще большего подъема сельского хозяйства. Они поистине грандиозны и впечатляющи, эти планы. В них, как в зеркале, отражена забота нашей Родины о нас, хлеборобах. Я не стану приводить всем известные примеры того, как высоко ценится наш труд, как много делается государством для еще большего благосостояния сельских тружеников. Все это лишний раз говорит о том, что и выращенному тобой хлебному колосу причастны труд и заботы и шахтеров, и сталеваров, и также ученых, конструкторов, — поистине всего народа. И не случайно издавна бытует такое выражение: только тогда успех будет, когда за дело берутся всемирно. Всем миром — значит, сообща. Вот почему я считаю, что каждый уважающий себя хлебороб обязан работать сегодня лучше, чем вчера, а завтра — лучше, чем сегодня.

Скажу о себе. Люблю работать и не боюсь работы. Родился я и вырос в потомственной крестьянской семье и своего сына научил любить землю. Считаю, коли есть среди врачей, учителей, артистов фамильные династии — необхо-

димы они и в нашем деле. Да и немало таких. Вспомните знаменитого Семена Пятницу. Вот потому и рад я, что сын мой Владимир сегодня рядом со мной участвует в страде.

И еще. Прежде чем стать, если можно так сказать, хлеборобом опытным, самостоятельным, мне пришлось немало поучиться. Учеба моя началась еще до войны, на полях колхоза «Красное утро», в родной мне Камышинке. Учил меня мой отец, который одним из первых в нашем колхозе сел за руль трактора и оставил его лишь тогда, когда началась война и пришлось взять в руки оружие. Встретиться нам больше не довелось. Погиб отец вместе с сыном, со старшим моим братом, в 1943 году. Но отцовский наказ я и сегодня помню. «Учись, Михаил, — говорил он, — понимать землю. Относись к ней с уважением. Земля — она как и человек. Насилия и равнодушия не прощает».

Помнил я эти слова и в те трудные военные годы, когда пахать и сеять приходилось больше на быках да на коровах. Днем, бывало, пашешь, а с вечера до полуночи на току снопы кидаетшь. Молотилка грохочет, трясется, как в лихорадке. Только поспевай.

Сломается что-нибудь, бригадир кричит: «Ну, мужики, повезло вам. Перекур!». А курить-то некому. Одни бабы да мы, пацаны, еще ни разу не брившиеся. А как работали, как старались — для победы! И по сей день, кажется, живет во мне и в моих друзьях, сверстниках, тот запал — для победы работаем. А разве сейчас это не так? Разве сейчас не ради нашей общей победы мы трудимся, живем одной думой — вырастить добрый хлеб?

Да, отцовская наука как основание, без которого немислима, как мне кажется, и вся моя жизнь. Однако хлеборобом в полном смысле этого слова я стал только после окончания Залесовского училища механизации в 1954 году. Да и то не сразу. Сначала с трактором сдружился по-настоящему. Мог спокойно разобрать и собрать его, на слух угадать, где что неисправно. Работать же на комбайне научил меня опытейший механизатор Николай Иванович Пучков. И вот когда я впервые почувствовал, что и комбайн мне не страшен, когда я учителя своего обошел на очередной жатве, тогда и сказал себе: ну, брат, отны-

не ты, наверное, действительно хлебороб... А ведь какая радость, какое истинное счастье почувствовать в себе эту силу, уверенность, сознание своей причастности к земле.

Между прочим, именно чувство благодарности всем, кто помогал мне в учебе, и натолкнуло меня на мысль о наставничестве. Поначалу я особого значения не придавал этому. Просто решил двум молодым ребятам, окончившим училище, помочь быстрее освоить порученную технику. А дело это оказалось и нужным и своевременным. С тех пор каждый год на какое-то время и становлюсь учителем. Понимаю, что с учителя и спрос с каждым годом возрастает. Ну, да и сам я не стесняюсь, учусь.

В этом году, например, очень мне помог известный в нашем крае комбайнер Леонид Волков, герой прошлогодней жатвы. Трудно давалась мне регулировка одного из узлов нового комбайна. Написал я Леониду письмо, рассказал о своих затруднениях. Теперь и сам могу любому помочь! И не только могу, но и обязан. Обязанности наставника являются для меня лично и чем-то вроде стимула в работе. Чтобы всегда работать хорошо, приходится волей-неволей задумываться, а как бы сделать так, чтобы техника не подводила, чтобы работала с полной отдачей. И вот прикинешь так и эдак, что-то упростишь, отладишь, а то и по-своему сделаешь — и делу польза. И, признаюсь, радостно становится на душе, когда из твоей затеи что-то путное выходит, а твои ученики, с которыми ты щедро делишься умением своим, того и гляди своего учителя за пояс заткнут.

Коль скоро наш разговор зашел об учебе, не могу не сказать о том, что все чаще и чаще меня тревожит и что тоже имеет непосредственное отношение к весомости хлебного колоса.

Училища наши, как известно, готовят механизаторов широкого профиля. И неплохо готовят. За два года будущий механизатор должен научиться и водить трактор и комбайн, и когда надо, привести их в боевую готовность, и своими силами устранять неполадки и поломки. Однако не будем спешить с выводами и утверждать, что наш механизатор все может. Нет, к сожалению, профиль его пока только на словах широк, а на деле нередко ограничен. Необходимо, чтобы

вчерашний выпускник умел обращаться и с электросваркой и газорезкой, знал слесарное и токарное дело. А то ведь что получается. Забарахлил мотор, обрезало, к примеру, болт или еще что случилось, что нельзя исправить гаечным ключом и молотком, — и сиди, выходи, и жди, когда летучка техпомощи прикатит. А время идет, и навестать его гораздо труднее, чем потерять.

Я еще почему об этом говорю. Да потому, что на собственном опыте убедился, насколько легче работать, когда можешь обойтись без помощи со стороны.

Сошлюсь на такой пример.

До недавнего времени совхоз наш, чтобы расширить посевные площади, подряжал ПМК. У них соответствующая техника и люди, знающие эту технику. Но стоит это недешево. Правда, когда нужда заставит, то о цене спорить не приходится. Да речь не только о материальных издержках. Вот на наших полях встречаются еще небольшие колки, пять-шесть деревьев, кустарники, удобнейшее место для разведения сорняков. Как избавиться от этих «пяточков», чтобы не тратить времени на объезд их ни во время сева, ни во время жатвы?

Приглашать ПМК? Да и не возьмется ПМК за это дело — накладная работа. Но выход-то должен быть, выход из любого положения есть. И мы его тоже нашли. Сами сконструировали специальный корчеватель. Не буду вдаваться в подробности, скажу только, что в общей сложности более 50 гектаров пашни мы уже очистили, выпрямили, так сказать, и поля сейчас стали как бы шире, просторнее.

Как и в прошлом году, мы у себя в хозяйстве еще задолго до весны неплохо поработали снегопахами. Только пахали мы не плугами, а клином. Вспомнилось, как раньше зимой дороги чистили. Идет трактор, а следом за ним — тяжеленные, неуклюжие сани наподобие треугольника. И подумалось: а что если использовать списанные ножи от бульдозера и сварить подобные треугольники, меньших размеров, конечно? Сварили, и жалеть не пришлось.

Говорю я обо всем этом не потому, что хочу подчеркнуть: вот, мол, мы какие хорошие. Нет! В нашем крае немало хлеборобов, чей труд и забота о хлебе достойны подражания. И я убежден в

том, что нет и не может быть предела творческим поискам людей, от которых зависит судьба хлебного колоса, урожая в целом — не только по колхозу или совхозу, району или краю, но по республике, по всей стране. И очень обидно и больно видеть, как порой равнодушно и нерачительно относимся мы к делу всей нашей жизни — к хлебу. Была у меня нынешним летом досадная встреча. Ехал я по своим делам в город. Дорога через пшеничное поле вьется. А пшеница — залюбуешься. Вдруг слышу: машина нагоняет. Ну, уступил я дорогу, как положено. Так он, стервец, водитель той машины, не по дороге меня решил обогнать, а по кромке поля. Остановил я его. Начал выговаривать. А он, парень молодой, безусый, только плечом дернул: «Да тут и примял-то всего с десяток колосьев. Беда какая!» А у меня все внутри кипит: а хоть бы и один колос. Это же хлеб, это же, говоря другими словами, наша жизнь! Задумался вроде парень. Может, и всерьез, может, и сам больше не посмеет смять, погубить хоть один колос, и другим закажет. Нет, это не мелочи. Какие же мелочи, если на зазеленевшем поле нередко можно увидеть отчетливый след от колес машины, а то и от гусениц трактора? Остарил его наш брат, сельчанин, решивший сэкономить время и сократить дорогу. Но о том не подумал, что не подняться больше раздавленным стебелькам, не выкинуть веселых метелок, не вызреть колосу. Как же после этого можем мы называть себя хозяевами?

Владимир Ильич Ленин учил, что коммунизм начинается там, где проявляется каждодневная забота каждого рабочего, каждого труженика об увеличении производительности труда, об охране каждого пуда хлеба, угля, железа и других продуктов, достигающихся всему обществу в целом. Заметьте: говоря о бережливости, В. И. Ленин хлеб на первое место поставил. И в этом глубокий смысл.

Алексей Васильевич Гиталов, дважды Герой Социалистического Труда, депу-

тат Верховного Совета СССР, бригадир тракторной бригады колхоза имени XX съезда КПСС, что на Кировоградщине, в своих размышлениях о земле и хлебе не без горечи спрашивает: почему же на исполкомах, сессиях областных, городских, районных Советов депутатов трудящихся обсуждаются вопросы экономии электроэнергии, топлива, металла, а что касается сбережения, экономии хлеба, до этого вроде бы и дела нет.

Хлеб — забота всеобщая. Об этом стоит думать и помнить всегда.

А насколько бы полновеснее был колос, если бы не простаивали порой в ожидании машины комбайны с переполненными бункерами, если бы вовремя были приведены в порядок дороги (о, дороги, сколько о них уже говорилось!). Если бы, наконец, четко и слаженно работали вспомогательные службы. Этих досадных «если бы», к сожалению, еще немало. И не резон относить их к разряду мелочей. Да и нет в нашем деле мелочей, все важно, как важно каждое звено в цепи.

В прошлом году в хозяйстве нашем нам удалось снять по 20 с лишним центнеров с гектара. Это неплохой урожай. Нынешний хлеб оказался гораздо скромнее. Мой личный вклад тоже оказался менее весомым. Но нынешняя страда для меня — не последняя. Еще не раз и не два я поведу свой степной корабль по пшеничным просторам, сердцем вслушиваясь в могучий гул мотора, который как бы ни был могуч, а не сможет все-таки заглушить звона и шороха хлебных зерен, упруго бьющих в днище, о стенки бункера. И чем гуще, настойчивее этот хлебный ручей, чем быстрее наполняется бункер, тем полнее и глубже твоя хлеборобская радость. Значит не пропали даром старания ни тогда, когда ты удобрял и пахал землю, ни тогда, когда раздумывал, на какую глубину отрегулировать посевной агрегат. Что ж, все правильно. Ты с добром к земле — и земля к тебе с благодарностью и щедростью. И так всегда.



Евгений Григорьевич Колесников родился в 1935 году в селе Веселоярске Алтайского края. Окончил десятилетку, работал в колхозе, позже — на стройках Урала.

С 1962 года занимается журналистикой, работает в редакции журнала «Литературный Киргизстан». Автор трех книг. В альманахе «Алтай» печатается впервые.

Евгений КОЛЕСНИКОВ

ИВАН — ЧЕЛОВЕК

ПОВЕСТЬ

1

Пурга бушевала седьмые сутки...

Резкий, студеный ветер, разбойничая в широкой, открытой степи, неистово гнал в слепую даль сплошную снежную мешанину. Он срывал ее с неба, растирал в колющий порошок, бросал наземь, мгновенно подхватывал и снова со свистом бросал в стороны, ломая обледенелый бурьян, торчавший кое-где у невысоких, пологих взлобков. И неизмеримо странным показался бы каждому бурый, иссеченный густой порошей клочок газеты, зацепившийся за полынный стебель и чудом державшийся на нем. Все окружающее походило на бесконечный, буйно клочущий океан мутно-серой бурной мглы — без дорог, без селений, без единого живого существа...

Иван открыл глаза. Сбоку смутно, размыто бледнело окно. В трубе тягуче завывало — то жалобно, как заблудший щенок, то зловеще, как матерая отощавшая волчиха. Свистели провода, протянутые от барака к будке с движком. Толстые саманные стены барака

вздрагивали под злыми ударами ветра. На чердаке, открытом с двух сторон, трубно гудело и что-то со скрипом хлопало.

«Оторвало доску», — подумал Иван.

Он выбрался из-под старого вагного одеяла и пестрой дерюги, зябко поежил-ся, натянул засаленный, нахолонувший за ночь пиджак, снял с остывшей плиты подшитые валенки, сунул в них ноги без портянок и подошел к окну. Подышал на обмерзшее стекло, потер пальцем ледяную корку, пока в ней не протаял пятячок, и посмотрел в него. За бешено метавшимися снежными гривами не было видно даже будки с движком, расположенной в двадцати шагах от барака. Между рамами в нижнюю шибку, заткнутую тряпками, набилась белая мучнистая труха. В комнате волнами колыхался холодный сумрак.

— Вот жарит!.. — вздохнул Иван, неуклюже передернув узкими костистыми плечами.

Он поскреб подбородок, заросший редкой белесой щетиной, свернул кривыми пальцами толстую сигарку, накиннул овчинный полушубок и вышел в сени.

Под ногами свежо хрустнул мелкий снежок, тянувшийся двумя полосами от косяков наружной двери. Иван откинул крючок, толкнул дверь. Но она не подавалась. Налег плечом — вверху дверь со скрипом отошла на вершок, внизу стояла, словно примерзшая. Поддел ломом — ничего не получается.

Так и есть — совсем замело. И до каких пор будет беситься этот буран, пропади он пропадом!.. Сколько раз говорили бригадир: дверь надо переделать, чтобы открывалась в сени. «Сделаем, дорогой, сделаем!» Вот и сделали. Сиди теперь.

Глотая махорочный дым с морозцем, Иван вернулся в комнату, зажег керосиновую коптилку, сел на дощатый скрипучий топчан, сильнее обычного сгорбившись и потирая большие заскорузлые руки. В комнате — холодно, сумрачно. В ушах снова появился нудный звон, как ноющая боль; невыносимо, до тошноты монотонный, он то утихал, то снова усиливался. Стало опять томительно и сумно...

Послышался тихий шорох. Этот шорох знаком Ивану. Он знает: здесь, в глухой комнате, помимо него, есть еще одна живая душа. Из соломы и кизячных крошек возле задымленной плиты выскочила серая шустрая мышь — Норрушка, с осени мирно жившая у Ивана. Она стрельнула на угрюмого хозяина крохотными, едва видимыми при коптилке черными бусинками, поводила острым рыльцем, приняюхиваясь к чему-то, и с протяжным писком шмыгнула под нары — там, в углу, у нее была неглубокая норка.

Соломы и кизячных крошек мало. Этим не протопишь. Да и снегу надо... Иван с силой бросил на земляной пол намокший от слюны окуроч, растоптал его тяжелым валенком и снова вышел в сени. Надо принести топки. А как выбраться?

В сенях — небольшое круглое оконце. В него не пролезешь. Окно в комнате выставлять никак нельзя — задует. Да и рамы можно побить. Лучше уж здесь, через крышу.

Вынес топор, лежавший под топчаном, и начал пробивать в крыше лаз — перерубил сухую лозу, выбрал солому, ломом продолбил слой глины и слежалого дерна. В отверстие с резким сипом ворвались снежные вихри. Иван подка-

тил валявшуюся в углу железную бочку из-под горячего, поставил ее на попа и выбрался наружу, где бесновалась дикая бурная крутоверть. Сугроб у сени был почти вровень с крышей. Отбрасывать снег от двери не имело смысла: работы хватило бы на целый день, да и не успеть за пургой — вслед бы заметало.

Иван с трудом, пятась против лютого ветра, добрался до навеса, возле будки, набрал кизяков, оторвал на чердаке стучавшую доску и сбросил все это через дыру в сени. Доску изрубил и разжег плиту. Потом сходил за снегом, ведро, доверху набитое снегом, поставил на огонь.

«Будто барсук... В дыру уже придется лазить. Сторож в берлоге. Хоть в спячку — и только. Неужто бригадир все одно? Ему бы, Илье, самому вот так!.. В девятой бригаде, у Зыбина, теперь, небось, тепло, мужики чешут языки, режутся в карты и слушают приемник... Эх!» — Иван поджал толстые, с мелкими трещинками губы, вытащил из-под стола мешок с картошкой и нехотя принялся ее чистить, складывая в помятую алюминиевую миску.

Треть комнаты занимали сколоченные из необструганных досок нары в два яруса. Весной, летом и осенью на них спали механизаторы — трактористы и комбайнеры, а сейчас нары пустовали. На непокрытом столе, приткнутом в углу, чернели небольшой закопченный чугунок, засохшие корки хлеба и обугленная картофельная кожура. На заиндевелом подоконнике валялись болты с гайками и раздавленная пачка махорки...

Иван помыл очищенную картошку, поставил чугунок на плиту и, не раздеваясь, опустился на солому у открытой дверцы, привалившись к стене. Огонь гудел, с силой вылетая в трубу. От плиты тянуло дымным теплом. Иван, расширяя хрящистые красноватые ноздри, понюхал смолистый чад. Начала слабо кружиться голова, потихоньку наплыла мягкая дрема.

На потрескивающем куске доски, постепенно увеличиваясь, выступила капля желтоватой смолы. Иван долго смотрел на беспорядочно метавшиеся рваные языки пламени, на горячую золотистую каплю. Глаза резало, но он продолжал смотреть, не отрываясь. В тихом оцепенении смотрел все пристальней и при-

стальной, и вдруг ему показалось, что капля смолы — это вовсе не капля, а светящийся в полумраке глазок радиоприемника. Приемник сухо потрескивает, и скоро послышатся ясные человеческие слова, а за ними — плавные, напевные звуки. Глухой, монотонный звон глубоко в ушах с каждой минутой усиливается, распирает голову, переходит в какое-то непонятное звучание, которое постепенно становится отчетливее, определеннее, затем неожиданно превращается в стройную музыку. Музыка нарастает, заметно приближается, и вот уже явственно откуда-то доносится грустное, тоскующее:

Бьется в тесной печурке огонь...

И опять как много раз в последнее время, перед глазами Ивана ясно — так, что больно жгало сердце, — встали давний прифронтовой лес, низкий блиндаж, жестяная жарко пылающая печь, молодой курносый солдат с потрепанной окопной гармонью и расторопные, теплые руки Шуры...

И поет мне в землянке гармонь
Про улыбку твою и глаза...

Смоляная капля набухает, подрагивает, будто живая.

2

...Косой, по-осеннему мелкий дождь назойливо сеял в лицо. Ивану уже надоело прикрываться от него. Дождь временами переходил в мокрый снег, налипавший на ресницы.

Проселочную дорогу расквасило. По ней медленно двигалась телега, на которой под брезентом лежали тяжелые проволочные мотки и телефонные аппараты. С колес сваливались крупные ошметки черной грязи, заднее колесо тонко, пронзительно повизгивало, как прозябший на ветру поросенок.

Телегу обгоняли пехотные маршевые роты, что спешно шагали по травянистой обочине. Нервные серые колонны грузно раскачивались, преодолевая трудные километры.

— Салют связистам! — выкрикивали бойцы. — Колеса смажьте, а то не доковыляете до Берлина.

— И перед фрицем неловко: услышит, скажет, какие бесхозяйственные!..

Иван, уставший так, что рябило в

глазах, и измученный малярней, валко шагал в набухшей мешковатой шинели, которая тяжело оттягивала и терла плечи. Большие потрескавшиеся губы посинели, скуржавились. Иван мял их грязной ладонью, отогревал, изредка отцеплялся за телегу, чтобы легче было шагать по вязкому месиву.

Рыжий Федька, погонявший гривастую конягу, дымил плоской самокруткой.

— Живей, Иван!

— Куда живей? Не к милахе идешь, от нее.

— Сельский твой котелок! От нее, значит, к ней. Шире шагай... Тебе что, зря дали ефрейторские лычки?

Иван хрипло буркнул:

— Я, говорю, лучше бы из этих лычек лапти плел...

В полдень, когда вышли к низкорослому болотистому лесу, по окраине искореженному танками и самоходными орудиями, подошел взводный, закричал:

— Шабаш! Приказ — дальше не пойдем. Впереди немцы крепко засели. С ходу не взять. Поворачивайте к штабу полка. Где-то за той балкой...

К вечеру, окончательно измотавшись, установили связь. Иван с Федькой уже хотели было подыскать укромное местечко, чтобы завалиться на час—другой, как их вызвал взводный:

— Дьявол, где-то секануло между штабом и третьим батальоном. Быстро, хлопцы!

Иван и Федька направились к третьему батальону, занявшему исходную позицию вдоль кромки леса. Снег падал редкими пушистыми хлопьями. На кривых соснах белели осколочные отесы. Со стороны немцев то и дело посвистывали пули.

Они скоро нашли место, где был разорван провод, и соединили его. И в этот момент невдалеке что-то внезапно резануло воздух и ухнуло, как филин гулкой лесной ночью. «Мина!» — Иван, не успев ничего крикнуть, резко толкнул Федьку плечом, сшиб его и сам упал рядом. Падая, он ударился боком о высокий пенек, повалился на Федьку и прижал его к земле. Над ними пролетели рыхлые комья земли.

— Ты что, чертяка! — Федька сбросил с себя Ивана и приподнялся. — Задавишь... Иван! Слышишь, Иван! Ваня...

Тот лежал неподвижно, сжимая в ру-

ке маленькие кусачки, которые зацепили былинку и надрезали ее.

Очнулся Иван уже в блиндаже и сразу увидел склонившуюся над ним Шуру — санитарку, рослую, крупную дивчину с густыми припаленными бровями. Она быстро, но осторожно бинтовала ему задетое осколком плечо. От легких прикосновений ее пальцев боль в плече, как ему казалось, становилась меньше. И тише саднило спину, глубоко царапнутую другим осколком.

Иван рос сиротой в глухой таежной деревне, не зная материнской ласки. Обошла его, неказистого парня, незадачливого пастуха, и ласка девичья. Деревенские девки, приходя по вечерам за коровами на поскотину, дурашливо поглядывали на Ивана да посмеивались:

— Наши коровы, случаем, не огулялись?

Еще ни одни женские руки не прикасались к нему так, как Шурины, — мягко, нежно и покойно. И ему, тронутому этим прикосновением, захотелось поговорить с ней, спросить что-нибудь приветливое и ласковое, но, не найдя ничего подходящего, он спросил неловко:

— Откуда ты, сестра?

— С Владимирщины, милый...

И что-то горячее сдавило ему горло. Глаза застлало красноватым дымком. В первый раз в жизни его назвали так! Он знал, что с этим словом санитарки обращаются ко всем раненым, но сейчас ему показалось, что «милый» предназначалось только ему и больше никому другому.

— А Федька, говорю, как?

— Ничего, цел... Сейчас прибежит. А ты что на него бухнулся?

— Да так... — Иван отвернулся, умолк.

— Ох, — почему-то глубоко, будто укоряюще вздохнула Шура, укрывая Ивана шинелью. — Полежи немного, отнесем в санбат. Раны не опасные, затянет скоро. Тогда...

Шура не договорила. Молодой, с повязкой на голове солдат, сидевший на сучковатом чурбаке у жестяной печки посреди блиндажа, тронул гармонь и тихо запел:

Бьется в тесной печурке огонь,
На поленьях смола, как слеза...

Шура присела возле Ивана, неожиданно взяла его жесткую грязную руку

в свою мягкую, пахнущую йодом и чуть слышно, низким голосом повела песню:

И поет мне в землянке гармонь...

Где-то ухали взрывы. В старом блиндаже пахло осыпавшейся с потолка сырой землей и разбросанной на полу хвоей. От грустного напева и от близости женщины — близости, еще незнакомой Ивану, ни разу не изведанной им, — у него тревожно заняло сердце...

А через день в санбате он узнал, что Шуры больше нет на свете.

3

...Узкий, выложенный кирпичами тротуар, усеянный клочками бумаг, конфетными обертками и подсолнечной шелухой, совсем опустел — нигде не было видно прохожих. Городок притих, крепко уснул. Только у перекрестка, под одинокой акацией молча стояли парень и девушка. Видать, молодые миловались.

Витрина гастронома тускло светилась. Иван медленно ходил по тротуару, и его огромная тень ложилась через всю улицу. Берданка на плече казалась стволом «сорокопятаки». Вот по улице, дымно чихая, промчался мотоцикл и переехал качающуюся тень Ивана — прямо по груди. Где-то вдалеке, на окраине, изредка побрехивали собаки. Едва заметно мигающие Стожары выплывали из-за темных башен мелькомбината. «За полночь уже перевалило», — Иван двинул плечом, подбросил берданку, которая сползала с плеча. Отгоняя липучую сонливость, он все ходил и ходил — от угла гастронома до ворот, где во дворе был склад. Двадцать шагов туда, двадцать обратно... Дойдя до ворот, он повернул и увидел мужчину, который стоял возле витрины и рассматривал, что там внутри, в магазине. Мужчина сильно покачивался.

— Эй, гражданин, здесь стоять нельзя, проходи!

— А-а! Душа! — пьяный качнулся с пяток на носки. — Ты душа? Будь другом, одну бутылку... Одну бутылку!

— Нельзя, ночь! Где я возьму?

— Вон сколько! — он махнул рукой на витрину. — А ты — где возьму. Твое или не твое? То-то!.. Стережешь? Себя стережи, ты самый ценный продукт!.. Дай залить... Я одинок, понимаешь, одинок! Я ее, подлюгу...

Мужчина скрипнул зубами и пошел к перекрестку, заплетаясь ногами и угрожая кому-то кулаком.

Иван перебрал берданку на другое плечо. И снова — туда и обратно, как маятник. Заныла спина, он подошел к воротам, где была сложена пустая тара, выбрал деревянный ящик и присел на него. Сразу подступил сон. Чтобы отогнать его, Иван стал думать, как его ранило, как он лежал в госпитале, в этом небольшом приволжском городишке, как здесь остался жить. Ехать тогда, после ранения, было некуда — никого близкого на всей земле. В тайгу, в свою деревню? Но врачи сказали, чтобы он не лез в тайгу... Да, ошиблась Шура. Рану в плече быстро затянуло. А вот спина... Ее задело осколком так, что последствия оказались куда как серьезными — спина плохо сгибалась и нельзя было поднимать тяжелое.

Веки склеивались, твердели, становились жесткими. Свет, падавший из витрины через улицу, казался длинным снопом прожектора. Иван плотнее запахнул телогрейку, поставил берданку между колен и удобнее устроился, привалившись к ограде.

Светлый прожекторный сноп уперся в большой дом с белыми колоннами и повел туда Ивана. Он осторожно вошел в дом и оказался в просторном высоком зале, пустом и гулком. Прямо перед ним, у расписной стены, стоял радиоприемник причудливой формы. Помигивая, горел зеленый глазок. Пока Иван потихоньку приближался к нему, зал наполнился странными звуками, будто квакали лягушки. Вдруг открылась боковая дверь, и из нее вышла нарядная Шура — высокая, густобровая, полнотелая.

— Иван, я тебя давно ищущу! Где ты был? Считаю, уже четыре года, как война-то...

— А ты откуда? Ты же убитая!

— Что ты, милый! Я не убитая! — Шура порывисто взяла Ивана за плечи и повернула к себе. — Я живая... Видишь? Я живая!.. Слышишь — музыка!

И Шура вдруг начала кружиться, начала танцевать. И Иван стал с ней неуклюже кружиться. И уже не было кваканья, а была напевная музыка, как голос Шуры, была она рядом, были они вместе, друг с другом — близко и осязаемо.

— Вот это и есть счастье! — взволнованно сказала Шура, глядя широко открытыми, сияющими изнутри глазами. — Да? Ты знаешь счастье-то?

Он задыхался, ничего не мог сказать. Он хотел, силился сказать, но не мог разжать губы. Музыка не кончалась. И не кончался голос Шуры, и не иссякало тепло, исходившее от нее, пока в высокие окна не ударило солнце...

Иван крепко потирал веки, осовело глядел на светлеющее небо, с трудом соображая, что с ним произошло. И тут он, вернувшись в явь, вздрогнул, испуганный: где берданка? Берданки не было. На его коленях лежал пестрый букет цветов.

Иван вскочил, затравленно огляделся. Пробежал около магазина. Замки и стекла целы. Но берданка... Подшутили? Кому это нужна такая шутка? Что же теперь будет? Что он скажет в конторе? Его же теперь уволят...

Возле ящика валялась записка. Иван поднял ее, развернул. Он умел читать только печатные буквы, а записка была написана по-другому — неразборчиво, торопливо. Что в ней? Сказано, где спрятали берданку? Ладно бы! А ну как украли ее совсем? Но теперь его все равно уволят, прогонят с работы...

Иван стоял, растерянный и оглушенный тем, что случилось. Он держал букет вниз бутонами, как веник, — ненужный, нелепый в его и смешном, и грустном, больше отчаянном положении.

4

...В топке глухо гудело. Пламя билось о круглый чугунный люк. В продывленной, с густо закопченным потолком котельной пахло каленым железом и паром. Иван поднял совковую лопату, подбросил угля в топку и прошел в дальний угол, затянутый черными паутинами. Там, внизу, возле окна, у него была устроена постель.

Заломило спину — видать, к перемене погоды. На дворе уже март, вовсю тает. Должно быть, дождик соберется.

В котельную вошла тетка Алевтина, домохозяйка из четырнадцатой квартиры, женщина рыхлая и хворая:

— Иван, я тебе здесь принесла... На завтрак готовила оладьи. На, поешь!

Иван сидел на постели, перематывая портянки. От натуги в его ненормально

узкой, с горбинкой груди хрипело: на потрескавшихся, никогда не заживающих губах запеклись ниточки крови.

— Спасибо, я уже завтракал.

— Ешь, береги здоровье, — тетка Алевтина поставила тарелку на шаткое устройство, служившее Ивану столом. — За здоровьем надо смотреть. Вон как хрипит в груди-то! Невелика задача — простыть здесь, в этой сырости. Комнату бы снял, что ли...

Иван топнул надетым сапогом, заправил в голенища концы портянок:

— Сырость меня уже не берет.

Одинокая жизнь в этом низком подвале сделала его, от природы костлявого, медлительного и молчаливого, еще более ссутуленным, замкнутым, как бы ушедшим глубоко в какой-то другой мир, скрытый для посторонних глаз. Но он всегда радовался, когда к нему в котельную приходили жильцы дома.

— За нее, за комнату-то, деньги клади. А у меня нету лишних.

— Деньги, это уж так! В примачи тогда пошел бы к какой-нибудь вдовухе. — Тетка Алевтина, как и все другие, разговаривала с ним внешне деловито, серьезным тоном, а на самом деле — будто с малым ребенком. — Что же ты долго холостым ходишь?

Иван словно застыдиллся и вяло пробормотал:

— Куда мне!..

— Стар, что ли?

— Да уж за сорок.

— Ну, еще три раза можешь жениться.

— Оно-то жениться можно, — доверительно сказал Иван. — Только нет подходящей. Найдите, тогда с охотой...

— Найдем, Иван, найдем!.. Ну, я заговорила с тобой, надо в ларек сходить за солью.

Тетка Алевтина ушла, оставив Ивана наедине с подвальной тишиной. Иван взбил кочковатый матрац и прилег отдохнуть. По телу растекалась слабость, но спать не хотелось. На потолке колыхались черные мохнатые паутины, нагнетая тоску.

День начался... Что он, один из многих, похожих друг на друга, принесет Ивану — подвальное безмолвие и размеренную покойность или опять что-нибудь вроде вчерашнего?

Иван поздно вечером возвращался с угольного склада, ходил узнать, скоро

ли привезут уголь, — у него уголь уже кончался. Возле обросшей льдом колонки ему повстречалась девчушка в короткой желтой шубке и вязаной пушистой шапочке с колобком на макушке. Поравнявшись с ним, она вдруг поскользнулась и упала, тоненько ойкнула. Он остановился, торопко нагнулся:

— Ушиблась?

Девчушка не отвечала. Тогда он стал ее приподнимать. Она, морщась, схватилась за ногу:

— Ой, как я пойду?

— Тебе куда? — Иван неловко топтался на месте.

— Домой.

— Нога-то...

— Подвернулась.

— Больно? Разок бы дернуть...

— Не надо...

Но сама идти она не могла. Иван взял ее под руку и повел. Она была легкая, будто вся меховая. От нее пахло шубкой, духами и еще чем-то едва уловимым, непонятым Ивану. Горбатый, в истрепанной телогрейке и худых, стоптанных сапогах, он выглядел совсем растерянным и вдвойне неуклюжим рядом с ней, такой аккуратненькой, доверчивой и словоохотливой.

— Помяла краски, — сокрушаясь, говорила она. — Ходила к Люське за красками. И тут лед... Ой, спасибо вам! Вот сюда, это наш дом. Вы помогите мне на лестнице, а то не поднимусь, да и боюсь, там темно. Идемте к нам, я покажу вам свои картины!

В квартире никого не было. Девчушка прошла вперед, теперь уже ведя за руку Ивана. Яркий ковер, диван, люстра, большой шкаф с книгами, у стола два кресла. Иван оробел, остановился в нерешительности.

— Раздевайтесь, садитесь вот сюда... Нога уже немножко отошла. Ой, как смешно: нога отошла, ушла!

— Однако я пойду.

— А картины?.. Чаю хотите, с мармеладом!

Девчушка сбросила шубку, достала из шкафа большие листы толстой бумаги и положила на стол. Иван, с опаской ступая, чтобы не замарать пола, осторожно продвинулся и присел на краешек кресла.

— Как, вам нравится? Вот наша улица... А это за городом... Нравится?

— Хорошие, говорю, картинки.

Дверь быстро отворилась, и в комнату вошел мужчина в блестящих очках, с бледными щеками, в кожаном реглане с поднятым воротом. Он почему-то испуганно уставился на Ивана, потом в его глазах появилось недоумение, которое сменилось жесткими искрами. Не сказав ни слова, он поманил девчужку пальцем, прошел в другую комнату. Она похромала за ним.

— Что это? — услышал Иван.

Девчужка стала что-то приглушенно объяснять. Мужчина хмыкнул:

— Ну, хорошо! А зачем привела его в комнаты? Наследил, как в кабаке.

Иван оторопел, сжался, как будто его мгновенно обдало пламенем из круглого люка топки. Он схватил рукавицу, суетливо, с трудом нагнулся и вытер мокроту, натекающую на пол с разбитых сапог. Озираясь на дверь, опротясь выскопил в коридор, опустился на лестнице и бросился на улицу, словно за ним могли погнаться...

Иван лежал, вспоминая это, вновь огорченно все переживая, глядел на черные паутины, и ему хотелось снова повстречаться с девчужкой, которая радостно показывала свои рисунки.

Еще один день начался. Вот так и пройдет — топка, лежанка... И второй, и третий. Месяц и год... В последнее время Иван почему-то все чаще и чаще стал думать о том, как прошли его сорок лет. Как? Он исправно нес то, что выпадало ему в жизни. Довольствовался тем, что имелось. Он никогда не роптал на жизнь, какой бы она ни была. Он принимал ее — трудную и малорадостную — как должное, переносил все тяготы, не думая, что он, может быть, заслуживает лучшего. Правда, у него никогда не возникало мысли, зачем он родился на свет, зачем живет. Получает ли он все то, что ему, как и любому человеку, отпущено природой, чем он должен пользоваться и обладать? Просто он, когда был мальцом, скитался по чужим домам. Когда вырос, пас хозяйских коров. В войну таскал тяжелые проволочные мотки по истерзанным дымным полям, по хлюпким болотам и лесам. Затем сторожил магазин. Теперь который уж год коптит в котельной возле топки. Ну и что? В этом вся жизнь? Вот он состарится, наступит день, и он сляжет в постель, а потом ляжет в сырую землю. И не будет Ивана... А что сделаешь? Ничего. Хотя он и ма-

ло делал на свете добра, зато не допускал и зла. И на этом ладно! Вот так и живет. Такая уж, видать, у него доля.

Одна отрада — ему часто вспоминался тот загадочный сон, когда он, дежуря ночью у гастронома, попал в просторный гулкий зал, где у расписной стены стоял радиоприемник причудливой формы. Этот радиоприемник был вроде как волшебный. Кажется, из его зеленого глазка появилась нарядная Шура и сказала: «Милый, я не убитая!.. Я живая!.. Видишь?» Ивану хотелось самому иметь такой радиоприемник, чтобы он потрескивал в тишине, говорил и пел человеческим голосом и чтобы никогда не потухал его светящийся зеленый глазок...

На станции протяжно прогудел паровоз — раз, другой. Прислушиваясь к гудкам, Иван поднялся, прошуровал вечерней топку, оделся и пошел на вокзал, находившийся неподалеку. В последний год его постоянно туда тянуло... Вот и опять, как только он ступил на перрон, его мутные, подернутые пеленой долгой тоски глаза посветлели, и сам он приободрился. У перрона, где было много народу, стоял длинный эшелон. Гвалт, спешка, толкотня — сразу не разберешь, что к чему. Так было, когда Иван уходил на фронт. Только сейчас эшелон направлялся в другую сторону, были слезы, но другие, и другие звучали песни:

Едут новоселы...

Иван, толкаясь среди провожающих, долго глядел вслед удалявшемуся поезду. В душе шевельнулась зависть, желание уехать с молодыми крепкими парнями, стать самому таким же молодым и крепким. Рядом с ним стояла пожилая женщина в вытертом плюшевом полу пальто и утирала концом платка слезы.

— Не плачь, мать! Сын там не пропадет, сдюжит! — живо сказал Иван и еще раз посмотрел туда, откуда в его землистое лицо дул влажный мартовский ветер.

Ощущение какой-то наполненности не покидало его, когда он возвращался к себе в подвал. Яркий день слепил, пахло талым снегом, весной, голыми деревьями и воробьями. И ему не хотелось больше спускаться в сумрачную котельную... Возле дома его увидели мальчишки, игравшие во дворе, и шумной ватагой бросились навстречу:

— Иван идет!

В него полетели снежки. Это мальчишки делали часто. Иван, притворно рассерженный, шугал их для виду. Но сейчас он вдруг остро осознал их на смешливую забаву. Ему стало не по себе, и он, не на шутку осердясь, схватил ком снега:

— Я вам побалую!..

Он тут же, не совсем еще осознавая, что делает, зашел к управдому и коротко сказал:

— Рассчитайте. Уеду...

Управдом так удивился, будто Иван запел веселую песню.

— Куда это?

— Да, говорю, поеду...

5

...Попал он в глубинный совхоз, вдали от железной дороги. Местность была безводная, открытая всем ветрам, без единого деревца — в какую сторону ни глянь. В седьмую бригаду, куда его назначили, Иван ехал в кузове грузовой машины, которая везла продукты. Невысокая сухая женщина с крупными бледными веснушками на лице и на руках — бригадная повариха — спросила:

— Вы на трактор?

— Не... Я так, по мелочи. Все, что придется, — ответил Иван, окидывая блеклыми глазами бескрайние, слегка холмистые дали.

— С семьей?

— Нету семьи...

— Что ж так?

— Да так...

— Ну, здесь заведешь. Здесь, на целине, ваш брат пряткий.

Бригада находилась в сорока километрах от центральной усадьбы. Среди черной пахоты, уходящей за горизонт, у невысокого холма стоял саманный барак с шиферной крышей, в нем было две секции, в каждой секции — по две больших комнаты с бугристым земляным полом и нарами. В одной из них и поместили Ивана.

Сложив небогатые пожитки на нары, Иван вышел на улицу — получше оглядеться. В стороне от барака, на расчищенной от бурьяна площадке, стояли разобранные трактора, возле них возились парни — руки до локтей измазаны мазутом. В кузнице звенела наковальня, в будке тарыхтел движок. Дымила труба продолговатого помещения, сложен-

ного из камня, — столовая. Рядом стояла большая деревянная бочка с водой, возле нее в грязи виднелись глубокие следы колес.

«Вода привозная, — скребнул затылок Иван. — Туговато придется. Да пусть уж что будет! Везде живут люди».

Из конторки, пристроенной к бараку, вышел Илья — бригадир, мужик кряжистый и вместе с тем легкий на шаг. На его лице, до черноты обожженном солнцем и ветрами, выделялись бурые усы, как лежалая солома. Он подозвал Ивана, в упор разглядывая его, как бы оценивая, что за новый работник явился в бригаду.

— С прибытием, новосел! Садись, потолкуем малость. — Илья опустился на валяющуюся автомобильную покрывку. — Чем хотел бы заниматься?

— Чем прикажете. Только тяжелое мне нельзя, спина шалит.

— Знаю, говорил наш директор.

— А так — хоть какую работу.

— Работы много. Первое — убирать в бараке, возить воду с озера, колоть дрова для столовой. Когда помочь саман лепить. Осенью будешь присматривать за током, особенно ночами. А на зиму останешься сторожем. Наши все живут на центральной. А там амбары, семенное зерно... Сам понимаешь.

— Это можно, — сказал Иван, довольный тем, что все перечисленное бригадиром будет ему вполне под силу.

— Ну, а вообще как думаешь, — у Ильи, по натуре, видать, человека прямого и крутого, голос и движения были какие-то настоороженные, — корни пускай здесь или так, месяца два — и до свиданьица?

— Нет, я твердо.

— Ну, добро! Осваивайся. — Илья остро зыркнул в глаза Ивану, легонько пригладил усы и поднялся. — Думаю, мы с тобой сживемся. Главное, чтоб не был бабой, умел язык держать за зубами.

Иван недоуменно посмотрел на него, не понимая, на что намекает бригадир, и не зная, как отнестись к его словам.

6

...Прозрачно сентябрьское небо. Далеки степные горизонты, крепко горьковатый запах сухой земли, отягощенной урожаем. И кружится голова от хлебно-

го духа, которым напитан весь воздух меж землей и глубоким небом.

На полях-картах — вокруг бригадно-го стана беспрерывно гудят трактора с лафетными жатками, самоходные комбайны и машины с наращенными бортами, на току стрекочут зернопогрузчики, мелькают деревянные лопаты, зернопульты секут воздух упругими пшеничными струями. Идет хлебоуборка!

Иван уже свыкся с целинной жизнью. Все, чем он жил раньше, теперь стремительно отдалилось, казалось призрачным и ненастоящим. А здесь — все настоящее, дышится вольнее, легче, слаще. Эта земля не то что гастроном или котельная, люди здесь отчаянные, бедные.

— Иван, тащи макароны! — кричала из столовой повариха Фешка, склоняясь над котлом и приподнимая юбку выше, чем было надобно.

Иван бросал пилу и топор, отправлялся в кладовую и тащил оттуда бумажный мешок с макаронами. Загоревший и обветренный, он по-хозяйски расхаживал по бригаде, заглядывая к мотористу в будку, где тарахтел движок, задерживался в кузнице, где крепкие на словцо трактористы и комбайнеры ладили сломанные детали.

— Иван, поддержи швеллер. Вот так!.. А теперь садани кувалдой.

И Иван, деловито поплевав на жесткие, мозолистые ладони, брался за кувалду. Из кузницы он шел на ток — посмотреть, все ли там в порядке. Он ворчал на шоферов, мявших машинами пшеницу:

— Не топчите зерно! Хлеб!..

На него набрасывались голосистые, ловкие девчата в низко повязанных платках:

— Иван, куда мою лопату задевал?

— Иван, быстро к агроному!

— Сбегай, Ваня, принеси водички. Догроба тебя любить буду!

У всех было к нему какое-нибудь дело, свои неотложные просьбы, и он охотно откликался на зов людей. Ему нравилось, что они, нуждаясь в его помощи, в разных мелких услугах — не в службу, а в дружбу, — всегда обращаются к нему. И он не обижался, даже чувствовал в себе что-то похожее на гордость, когда механизаторы, собираясь на перекур, говорили о нем:

— Работяга хоть куда. Попроси — и

козью ножку тебе скрутит. Свойский мужик. Душа! Иван — человек!..

Как-то к вечеру его позвали в конторку. Он привык к разным вызовам и не гадал, кому это и для чего он снова понадобился. В тесной конторке за столом, измазанным чернилами, сидели бригадир Илья и учетчик. Окно было плотно занавешено мешковиной. На столе стояли две бутылки водки и стеклянная банка с патиссонами.

— Присаживайся, Иван, выпьем малость, — как-то уж слишком запросто, даже панибратски сказал Илья и разлил водку в стаканы.

Иван присел на скамейку:

— Выпить-то можно. Только к чему бы?..

— Да просто так! — шумно оживился Илья. — Устал, посиди, отдохни от трудов праведных.

— Мои труды мне не в тягость.

— Это вижу, ты выносливый... Поднимем!

Выпили. Хмель быстро ударил в голову Ивану — он редко пил, а Илья уже снова ему подливал:

— Пей, закусывай. Эх, уважаю тебя, Иван! Ты для бригады — находка. На зиму остаешься, не передумал?

— Обговорили, чего же? — Иван крепко, с мелкими брызгами хрустнул патиссоном.

— Ну и добро! Может, в чем нужда есть? Говори, что надо, устроим. — Илья осторожно, выжидательно погладил соломенные усы.

— Да ничего. Вот только на зиму... — Иван замаялся, вдруг стушевался, краснея и пряча под стол большие, с крючковатыми пальцами руки, почти по локоть торчавшие из рукавов изношенной телогрейки. — Приемничек бы, Илья, хотя бы плохонький... Все живее!..

— Тебе приемник? Ха-ха!.. — удивленный такой просьбой, бригадир откинулся на стуле, но, заметив, как сразу посерело лицо Ивана, спохватился, посмотрел на него участливо и снова звякнул бутылкой о стакан. — Добро, Иван! Сговоримся, дорогой, будет тебе приемник, купим, совхоз богатый. Только и к тебе у нас есть дело...

Он помедлил, пока Иван выпил и закусил, потом ближе придвинулся к нему, дал папиросу, приглаживая усы и понижая голос:

— Дело важное. Ты мужик серьезный

и самостоятельный. Знаешь, на чем жизнь стоит. Агитировать тебя нечего. Так вот... Сегодня ночью на ток придет машина, бортовая. Чтоб без шума! Будешь лежать, будто спишь. Ничего не видел и не слышал. Понял? Никто не узнает. Что там — капля в море... Добро?

Иван не ожидал этого: Застигнутый врасплох, он напрягся, сгорбил, молчал, уставясь хмельными мутными глазами под стол.

— Что молчишь?

Он не поднимал головы, набычившись, ковырял толстым, искривленным, желтым от табака ногтем край стола.

— Не трусь, Иван! И тебе, конечно, прилично перепадет. Одежду хорошую справим, костюм бостоновый. Бабу-то надо искать. А они, бабы, очень на фасаде смотрят. А так век горби, шиш зарабатываешь. Ну?

Наконец Иван выпрямился, сильно сжал стакан и жадно, залпом глотнул водку, нисколько не поморщившись. С нижней губы скатилась на залатанные штаны горькая капля — казалось, прожжет штанину, пронизет ногу насквозь и уйдет в землю.

— Нет, Илья, на это дело я не пойду!

Его пьяное, небритое лицо — редкие белесые щетинки торчали, как спички, натканые в хлебный мякиш, — было размякшим, рыхлым, но голос — трезвым и твердым:

— Не пойду, говорю!

— Одумайся, Иван! Не горячись. Тебе же выгода. О тебе думаем.

— Я сказал...

— Ну, знаешь! — Илья резко скрипнул стулом. — Ты не очень-то! Обломаю рога...

В дверь постучали. Учетчик быстро вышел. Иван услышал свое имя: его кто-то спрашивал.

— Спасибо за угощение! — он поспешно поднялся со скамейки и, покачавшись, шагнул за дверь.

Его искал Толян, белообрый и щуплый парень, вертлявый, как шатун, бригадный потешник.

— Чего тебе? — настороженно спросил Иван, зная, что этот штурвальный горазд на всякие соленые штуки.

Толян отвел его за угол барака и заговорчески зашептал:

— Пьешь, а про Фешку забыл? Помнишь, что я утром тебе говорил? То-пай, уже поздно, она ждет.

— Успеется, — как можно спокойнее и равнодушнее сказал Иван и пошел к холму, возле которого горел костер.

Он не забыл, он помнил об этом весь день и весь день готовился к этому, собирался внутреннее, внаш себе, что здесь нет ничего необычного, судного.

Толян утром сказал: Фешка передала, что будет ждать его вечером. Будет ждать... Иван не удивился, хотя никогда и не загадывал об этом. Фешка — вдова, не колода, и ей мужик нужен. А там, глядишь, может, и получится что путное — не век же ему бобылить...

У холма молодые бригадники жгли костер — от комаров. Играли на гармошке. Пахло сухой полынью, горелым бурьяном. Иван тихо подошел, закурил, слушая плавные переборы. Его заметили.

— Что, Иван, такой хмурый? Фешка отказала? Ишь, захопал зенками. Знаем, к Фешке ходишь!

— А ну вас подальше! — притворной сердитостью отмахнулся Иван.

Покурив, он отошел за барак, а оттуда крадучись, чтобы никто не заметил, пробрался к столовой, где в небольшой комнатке жила Фешка. Дверь была незапертой. Потихоньку приоткрыв ее и чуть слышно переступая, Иван вошел в душную комнатку. Было темно. Сердце его сильно колотилось, кровь, густо приливая, била в виски. От волнения сжало горло, и он прохрипел:

— Фешка, ты спишь?

Она молча пошевелилась на железной койке — тонко скрипнула проволочная сетка. Ах, кулема, стесняется откликнуться!

Поборов робость и неловкость, он сделал два шага, снова остановился. Совестно!.. А чего совестно? Она же сама... Он стоял и всматривался в темноту, где — он улавливал мужским чутьем — лежала женщина в белой рубашке и ждала его. Тело его остро сотряслось, он опустил на койку. Невидимая, она испуганно прикрылась одеялом. Он быстро сорвал с себя телогрейку и пиджак и повалился на подушку, охваченный горячим дурманом... И сразу похолодел. Его рука коснулась щетинистого подбородка.

— Обжегся? — вдруг прыснули, взвизгивая, и раздался ликующий хохот.

Иван безумно вскочил и бросился в дверь, оставив пиджак и телогрейку. Плохо соображая, он метался перед столовой в багровых отсветах костра, не

789747

зная, куда бежать, где спрятаться. У костра тоже хохотали, катаясь по земле. Подстроили... Какой стыд! Позор теперь на весь совхоз!

Он бросился в степь, от ярости цапал себе лицо, грызя сломанную на бегу толстую полынь. Он долго там бродил, не решаясь приблизиться к бригаде. Пришел в себя от холода, весь продрог в одной рубахе. И только когда погас костер, он осторожно прокрался в барак и молча лег на свое место в углу на нижних нарах, крепясь, чтобы не наброситься на тех, кто притворно похрапывал.

Нервное потрясение ослабило силы, и он скоро задремал. И перенесло его на смоленские поля, на те поля, по которым они с Федькой когда-то отступали. Горела пшеница, а они шли по небраным полям сквозь густые дымы. Спелая, ядреная пшеница горела под ногами. И ноги жгло, их нестерпимо жгло...

Иван проснулся. Жгло в груди, и он больше не мог уснуть. Захватив полушубок, он ушел на ток, прилег под ворохом зерна, и так никто не видел, как он, крепясь, мял пальцами горячо набухающие веки и смотрел в небо — оно казалось ему огромным током, усыпанным мерцающими зернами.

Утром, усталый и разбитый, он направился в столовую — там как раз бригадники собрались на завтрак. Он твердо скажет им: «Больше не потерплю такого!» А нужно ли говорить? Что толку? Слова не помогут. Нужно, чтобы эти люди умели смотреть в глаза. Тогда бы они, наверное, многое понимали.

Переступив порог, он услышал, как белобрый Толян, склоняясь над миской с кашей, протянул:

— Иван? А-а!.. Прибитый пыльным мешком из-за угла.

Все сразу замолчали, перестали стучать ложками. Высокий комбайнер, белорус, приехавший помогать на целину, подошел к Толяну:

— А ну-ка, ухар, встань!

— Чего тебе, дядя? Трапку потерял?

— Встань, говорат! — громыхнул бас.

Толян притворно захлопал ресницами. Комбайнер схватил его за шиворот, выволок из-за длинного стола и вторично дал ему затрещину — штурвальный вылетел за дверь. Илья, стоявший у раздаточного окна, нахмурился, крутнул бурый ус:

— Руки не следует распускать!

— Надо следить за порядком. Ты бригадир, а он — человек!

Иван, подавленный, молча вышел на улицу. Его догнала Фешка, побледневшая и виноватая, потерянно сказала:

— Не сердись, Иван! Сдуру я, уговорили. Я ведь не хотела...

— Да мне что? На себя смотри.

Страдные дни понемногу заглушили горькую, как степная полынь, обиду. Отходчивая у него была душа. И когда пришел срок, ему жалко уже было расставаться с людьми, даже с теми, кто над ним потешался. Опустела бригада, стало тихо, хмуро и сиротливо. И только ветер гулял по колкой звенящей стерне и глухо бил в барачные стены.

— Иван, ты жив тут? Принимай, хозяин, гостей!

— Заходите. Редкие гости — что масленица. Прозябли?

— На снегозадержании были, не у тещи... Сам видишь, как крутит!

— Вот сюда, ближе к теплу! Не поморозились?

— Пройдем, чего зашебушился?

— Да так... Месяц, как никто не заглядывал. Снимайте одежду, посушу.

— Чаек есть?

— Чай? Налажу... Вот сюда, на солонку.

— Ну, Иван, ты, как баба, заботливый!

— Вьюжно в степи-то...

— Крута нынче зима. Забило все до роги. Едва не заплутали.

— Как добрались? Снегу в добрую сажень... Держите, говорю, кружки!

— С бульдозером пробились... Эх, а чаек хорош!

— Грейтесь. Кирпичный, он ладно нутро греет.

— А закурить крепачка найдется?

— Крепачок есть. И махорки сколь хошь, запасся.

— Как ты здесь живешь, Иван? Третий год... С тоски удавиться можно.

— Потихоньку, полегоньку... Уже обвыкся. Вот дождусь весны, веселее пойдет. Скорей бы!..

— Так вот всю зиму — один? Плохо... Говорить разучишься.

— Да, оно не сладко!.. Был бы хоть приемник, включил... Так нет, все тянут, опять тянут. А чего он стоит? Полтора гектар хлеба осталось под снегом. Да на току сколь погибло... Деньги!

— Деньги, Иван! Сходил бы тогда к самому директору.

— Ходил. Говорит, бригадир дано указание, пусть бригадир хлопочет. А Илье только и забота... Было у нас с ним одно дело... Да не на того попал. Теперь косит волком. А чтобы уважить меня без шахера-махера — тягучка напала.

— Ладно, Иван, будем в конторе, еще напомним директору. А теперь давай нам что-нибудь подослать, соснем в твоих хоромках.

8

...Крупная смоляная капля упала на угли и ярко вспыхнула, как молния. Иван встрепенулся. В чугушке булькало. Он слил в помойное ведро воду — лицо обдало пахучим паром. Сел за стол и стал есть, макая картофелины в крупную соль на газетном обрывке. Хлеб кончился третьего дня. Лепешки печь не хотелось, надоела преснота. Размял одну картошку, отнес под нары — для Норушки. Походил из угла в угол.

Чем заняться? Подмести пол? Тошно...

Сегодня стало особенно нестерпимо — его все сильнее и сильнее грызла госка по людям, по живому голосу.

Лег на топчан. Из-под нар выбежала Норушка и опять уставилась на Ивана крохотными блестящими бусинками.

«Чего смотришь? Тебе вот не скучно. Ничего не надо, кроме тепла, хлеба и картошки. А может, и тебе скучно? Ведь живая тварь».

Мышь подбежала к столу, привстала на задние лапки, будто желая узнать, что лежит на столе, мотнула гибким хвостиком и скрылась под нарами.

До самого вечера пролежал Иван без движения. Он устал от непрерывного нудного звона в ушах, от своих медленных, бесконечных мыслей. Топить плиту и варить ужин руки не поднимались. Сняв пиджак, в брюках и верхней рубашке он забрался под одеяло, накиннул сверху дерюгу, подоткнул ее с боков под себя. Кое-как уснул, проснулся среди ночи от жалобного, хватающего за душу плача — это опять пришли волки, которые прятались от бурана под навесом. Ивану почудилось, что они забралась через дыру в сени и скребутся в стену, в дверь. Во второй секции, заколоченной

еще с осени, что-то хрустело и сдавленно дышало.

— Вс-си-сс! — свистело в трубе. — У-и-и! — скулило за окном.

По телу Ивана пробежали острые иголки. Он вырвал из одеяла клочок ваты и заткнул уши. Чистый ад... Когда всему этому будет конец? Сколько сейчас времени? Какое число, день? Все смешалось, перепуталось.

Вдруг Ивану показалось, что все люди о нем забыли, оставили на произвол судьбы, что снежный ураган никогда не кончится, будет вечно бушевать над землей, а он, Иван, вечно лежать в этой холодной, темной пустоте — заброшенный, одинокий, недвижимый... «Нет, нет, — решительно он мотнул головой, — так не должно вечно продолжаться. Не должно... Нет!»

Дождавшись, когда окно посерело, он встал, оделся: «Пойду в девятую. Больше не невмочь». Застегнул полушубок на все пуговицы, прихлопнул на голове потертую кожаную шапку с короткими ушами, вывалил из чугушка оставшуюся картошку под нары и плотно прикрыл за собой дверь.

В сенях, под дырой, уже возвышался сугроб. Иван выбрался наружу и тут же упал — сбило ветром. Пурга еще сильнее бушевала. Иван скатился по сугробу вниз и задохнулся в плотном, яром снеговороте. Вышел на дорогу, вернее, на то место, где она лежала под толстым слоем замяти.

«Пятнадцать километров... Дойду, добреду. А если заплутаю... Замерзну. Нет, все одно пойду. Ветер дует в бок. Верст пять до скирды, а там повернуть, чтобы ветер дул навстречу, потом опять в бок».

Забивало дыхание, слезились глаза, колючий снег сек лицо. Иван подвязал под небритым, занемелым подбородком шапку, поднял воротник и зашагал, по колени увязая в рыхлых, сыпучих наносах.

Стало жарко, припотела спина, густо парилось частое дыхание. Снег таял на лице, стекал струями, лицо студено горело.

Нет, нужно идти тише. Так на долгие хватит сил... Трудно, очень трудно идти по глубокому снегу. Дышать и глядеть перед собой невозможно. Сотня шагов — и остановка. Потом пятьдесят шагов, тридцать, пятнадцать...

Добрался до скирды, свернул в сто-

рону. Идти стало еще труднее. Ветер бил прямо в грудь. Пришлось низко нагибаться. Заныла спина, замерзли руки. Шаг, второй, третий... Шаг, второй, третий...

Иван не знал, сколько времени уже шел. Почувствовал, что сильно устал, натер портянкой ногу. Отдохнуть? Стоять на ветру еще хуже, чем идти. А метет пуше прежнего.

Присел прямо в снег, прикрыл лицо воротником: «Долго сидеть нельзя. Размякнешь...»

Поднялся. Опять — шаг, второй, третий... Ничего не видно, снежные вихри бешено мечутся и мечутся перед глазами, слепят. Тянет повернуть и идти за ветром. Поскользнулся, упал на бок. Полежать немного? Вон как сердце стучит! Нет, может быстро замести.

По спине прокатился холод, Иван встал, пошел дальше. Ноги одеревенели, не было сил их переставлять. Сбоку в нескольких шагах заметил снежный холмик, пнул его валенком: «Солома... Прилягу, каплю отдохну и согреюсь... Но как же, задует. Лежать — скорее замерзнешь. Ничего, немножко... И пойду».

Разбросал снег, взбил солому, сделал гнездо и лег в него, отвернувшись от ветра. Негнушимися пальцами расстегнул полушубок, укутался в него с головой. Стало теплее. Скулы свело острой зевотой. На смену ознобу пришла расслабленность, сонливость.

«Только не спать. Уснешь — все, конец. Старики говорят: кто уснул в степи — считай, уже покойник. Замерзли же в прошлую зиму трое. Надо вставать... Сейчас встану, сейчас... Нет, еще немного полежу... А там, у Зыбина, небось тепло. Может, и по стопке окажется. И будет хорошо. Хорошо...»

Много ли человеку надо?

Пурга быстро заметала яму, где лежал Иван. Он не слышал воя пурги, ему казалось, что не было ни колючего, пронизывающего ветра, ни свистящих вихрей, ни мутной снежной пелены, а была лишь одна усталость во всем теле, даже глубоко в костях, и мучительное желание уснуть, забыться, не думать ни о чем...

Опять этот тягучий, нудный звон в ушах, опять его заглушает музыка. Перед глазами мелькает зеленый огонек приемника... Иван встрепенулся, поднял голову. Зеленый светляк приближается,

увеличивается. И Иван уже видит, что это вовсе не светящийся огонек... Это разгоревшееся на ветру лицо Шуры. Вот он видит ее всю. Она какая-то прозрачная, снежная, сквозная. Очень высокая, идет по вьюжному полю, а на плечах у нее развеивается большая снежная шаль. Ей холодно, она кутается в шаль, но ветер срывает ее и уносит далеко в степь.

Иван зовет Шуру, вскакивает, чтобы догнать ее, уходящую в метельную мглу. Он уведет ее с собой. Он согреет ее в бараке... Но Шура не слышит его, поспешно удаляется и расплывается в холодном белесом омуте. И он в отчаянии бросается бежать за ней, проваливается в сугробы, падает, поднимается и снова бежит — все быстрее и быстрее.

Иван с размаху повалился грудью на какое-то препятствие. Больно, как проволочкой, царапнуло по лицу. Наваждение исчезло, уносимое сипящей пургой. Он лежал ничком, уткнувшись головой в солому. Скирда... Запыхавшийся и разгоряченный, он почувствовал под собой мягкий комок. Потрогал — шерсть. Обмерзшая, набитая снегом, мокрая шерсть. Иван обомлел, перевалился на бок, готовый вскочить. Волк! С опаской пригляделся — нет, шерсть рыжеватая. Иван разгреб снег, перемешанный с соломой, и увидел — перед ним, скорчившись, лежал окоченелый молодой лисенок. Он не шевелился, хотя был, как видно, еще живой. Это окончательно привело Ивана в себя.

Он огляделся. Скирда оказалась той самой скирдой, которая стояла на повороте дороги. Выходит, он, когда бежал за призраком Шуры, дал крюк, вернулся назад к тому месту, откуда пошел навстречу ветру.

Иван посмелел — он не один в степи. Лисенок по-прежнему не шевелился. «Оголодал, прихватило морозом. Сгинет, дурень!» — Иван поднял скрюченную, стынущую тушку, и хотя было неловко, прикрыл полую полушубка, плотнее прижал к себе. Напрягаясь из последних сил, он зашагал тверже, все время чувствуя на груди нечто живое, постороннее и, в тоже время, ставшее уже как бы частью его самого. Поземка змейсто скользила по снежному насту и, замирая, ложилась у ног. Пурга, на удивление, стала ослабевать, небо немного посветлело. Зыбин, как увидел Ивана, гла-

зами от удивления захлопал: «Ты откуда это, паря, явился, с неба, что ли?»

Иван улыбался стылыми губами.

— Здорово! Пришел вот на тебя поглядеть, словом перекинуться...

Зыбин кинулся печку растапливать, а сам все на Ивана поглядывал, головой качал: «Вот человек, не заскучаешь с ним...»

С холоду в бараке показалось очень тепло. Иван положил лисенка на топчан, укатал его одеялом. Зыбин уже растопил печку, и дрова весело живо потрескивали. Постепенно лисенка начала бить мелкая дрожь. Вот он мотнул острой мокрой мордочкой, приподнял ее и открыл глаза. Опушенные длинными ресницами, глаза его были спокойны, неподвижно уставлены на человека в полушубке. Вдруг лисенок коротко зевнул, показав малиновый язычок.

— Ну, давай, давай! — обрадованно сказал Иван и ободряюще причмокнул губами, боясь вспугнуть зверька. — Оттаивай. Теперь полбеда... Теперь, говорю, будем жить! Вот и Зыбин рядом, в обиду не даст.

— Дак вы и сами с усами, — мягко, с доброй усмешкой пошутил Зыбин. — Ну, разболакайся, чай пить будем.

Иван скинул шубу, весело поглядывая на Зыбина:

— Чай можно, чай — это дело. Вот обогреемся, побеседуем — и обратнo.

— Да ты что? А вдруг снова задует?..

— Не-е, — твердо сказал Иван, — теперь уже не задует, пронесло. Теперь уж не страшно. Пойдем. Надо.

Лисенок высвободил из-под одеяла тонкую, слабую лапку с темными коготками. Наверное, почувал теплый кизячный дымок. И в это самое время серое, заиндевелое окно внезапно полыхнуло — Иван даже вздрогнул. Оно полыхнуло щедрым, каким-то неземным светом, все огнисто заискрилось, разгоняя в комнате угрюмый сумрак. Иван понял — где-то там, в небе, сквозь плотные, тяжелые тучи с трудом пробилось солнце. Он стоял, как околдованный, и темные морщины у его рта криво подергивались. В круглый пяточок, проделанный в наледи на стекле, между двумя молодыми морозными листочками, скользнул солнечный луч, и пяточок стал расширяться, оттаивать. «Теперь полбеда... — еще раз подумал Иван, благодарно поглядывая на суетившегося у печки Зыбина. — Теперь нам буран — не буран. Вот погостюем, отогреем душу и пойдем. Надо, брат, надо идти.»

Владимир Казаков родился в 1939 году в селе Анисимово Алтайского края. По окончании десятилетки работал токарем, связистом, служил на флоте, строил Красноярскую ГЭС. Был комсомольским работником, газетчиком.

Сейчас заканчивает Литературный институт имени Горького. Автор двух сборников стихов — «Полынь-трава» и «Метельный город».



Владимир КАЗАКОВ

В РАЗГАРЕ НЫНЕШНЕГО ЛЕТА

В разгаре нынешнего лета
мне вновь, как в детстве, повезло
недолгие часы рассвета
встречать над речкой, за селом.
Смотреть,
как розовеют травы,
как дышит тихая вода
и как теряется в купавах
отговорившая звезда.
И слушать,
как на отдалении
литое тело язь взметнет,
и чья-то лодка в изумлении
бортами влажными качнет.
Как эти шорохи и звуки,
у полусонных трав в плену,
накапливаются в округе,
чтоб опрокинуть тишину
и затопить теплом и светом
и хлебной волной с полей
мой новый день в разгаре лета
над Боровлянкою моей.

БЫЛ И ЕСТЬ ПЕРЕУЛОК

Был и есть переулок —
кривой, лупоглазый.
К речке детства тропинка —
легка и поката.

От ветров и дождей
потемневшие глаза,
и родительский дом
в невеселых заплахах.

По весне —
шорох крыльев
в доверчивом небе.
Перестук топоров,
перезвон наковален.

И заботы сельчан
о покосах, о хлебе,
и курчавый парок по утру
от завалин.

Летом —
всхлип перепелок
в некошенных травах.
Тишина,
разомлевшая полднем белесым.

И девичьи припевки
на переправах,
и ночные,
в полнеба,
бесшумные грозы.

А по осени —
россыпи знобкой брусники
по веселым боркам,
по увалам раскосым...

А еще —
за банальность меня извините —
во все стороны света
березы, березы...

Вот, пожалуй, и все,
кроме памяти сердца,
вечной памяти сердца
о радостях детства.

* * *

Оглушен, опрокинут и смят
возмужавшим за лето' громом.
Видно, долго я брел наугад,
чтоб очнуться в лесу незнакомом.

Как же так,
что и в отчет краю,
где, казалось мне,
все исхожено,
я сегодня в себе узнаю
любопытного сердцем прохожего!

Неужели за давностью лет
мне осталось любить и помнить
колеса деревянного след
да луга, где пасутся кони!

Нет!
На память грешить ни к чему.
И любовь наша глубже и строже.
Просто мы благодарней тому,
что нам с детства родней и дороже.

Понимаю:
покуда всерьез
проходил испытанья на зрелость,
край мой тоже мужал и рос,
чтоб сегодня мне радостней пелось.

Оттого и растерян, и рад,
что в лесу своем,
как в незнакомом,
оглушен, опрокинут и смят
не одним возмужавшим громом.

Ш О Ф Е Р

Шофер сжимается
на виражах,
и горы валятся,
свистит в ушах.

А путь — ни к черту, —
здесь глаз да глаз.
Асфальт потертый
шуршит, как наст.

А вдоль обочин, —
не кинуть взгляд, —

река грохочет
иль камнепад...

Меня кидает,
сечет дождем,
а он, оттаяв:
— Не пропадем.

Бывает хуже...
На то и жизнь —
Ремень потуже,
а темп не снизь...

Рейс на исходе.
Знать, поживем.
Молчали вроде,
а руки жжем.

И Ю Н Ь

Июнь одарило погодой
впервые за лето. И мы
проходим на борт парохода
с печальным названием: «Чулым».

За трапом остались до встречи
обшарпанных комнат глаза,
где утро — как утро,
а вечер —
скорее восточный базар.

Где время не тратят впустую.
Но если потянешься вдруг
к чужому теплу — зачастую
приветить тебя недосуг.

Какой там приветить!..
Ни слова, ни дела
не спросят подчас.
Воистину, нету предела
в заботах и нуждах у нас.

И мы вот на борт пароходный
всходили с желаньем одним:
стояли бы дольше погоды,
катились бы медленней дни.

* * *

Уже отрешен, неприкаян
осенний березовый лес.
Уже он от края до края
и вызов зиме и протест.

Усталые ветви вздымая,
под стынущей синевой

ДЕНЬ НЫНЕШНИЙ

День нынешний и день вчерашний
сместились и переплелись,
и меж собой заводят шашни,
двойную начинают жизнь.

И постучавшееся утро —
всего лишь продолжение дел,
что разрешить вдруг почему-то
вчерашний день не захотел.

И вечер,
поступью похожий
на все другие вечера,
опять очутится в прихожей
в одеждах тех же, что вчера.

И вновь я дверь ему открою,
и в комнату свою впущу,
и рядом за столом устрою,
и крепким чаем угощу.
Но дружелюбный лад беседы
нарушен будет всякий раз,
когда припомнятся победы,
которыми горды подчас.

И вновь с отчетливостью ясной
поймешь, что зря оберегал
себя от памяти бесстрастной,
не покидавшей берега
надежд,
забот
и дел вчерашних,
что с новыми переплелись
и, несмотря на чувства наши,
и составляют нашу жизнь.

* * *

Прости меня, милая,
грустно,
за буйство зеленого мая
он землю дарует листзой.

И весь накакуне разлада
в судьбе своей, —
хмур, не речист, —
в погожие дни листопада
особенно кроток и чист.

Как будто и впрямь понимает:
чтоб вновь зеленеть по весне,
придется до самого мая
качать на плечах своих снег.

что жизнь по-другому сложилась.
Что делать!!
Мосты наши временем смыло,

и песня в других растворилась.
Отпелась.

Лишь памяти будет подвластно
за нами бродить, спотыкаясь...
И все же,
светло мне и ясно,
хотя и прощаюсь.

Не скрою:
бывало нам трудно порою.
Не ангелы мы, не святоши.
И все же
была ты мне тихой травой,
ознобом
и первой порошей.

Возможно,
не будь расстояний,
продымленных трубами фабрик,
согретый теплом и дыханьем,
плыл бы и плыл наш кораблик.

Но как бы там ни было —
нынче
меж нами леса листопадут,
и ветер до крайности взвинчен,
и травы с дождями не ладят.
Присядем.

Пусть наши печаль и молчанье
другим дорогим и любимым
останутся напоминаьем,
что редко друг друга
щадим мы.
Прощай, моя милая...

* * *

Осенний ли ветер
приветливо веткой мне
машет,
знобит ли настой
иззябшего за ночь
леска, —
все думы о том,
что нынешний день мой
стал старше,
а завтрашний —
словно разбойный кистень
у виска.

Не жил я бездумно,
не жил бестревожно,
и все же,
когда оглянусь
на холодное пламя

зари,
мне кажется,
голос мой
часто звучал осторожно,
когда о России
пытался я вслух
говорить.

Мне кажется,
шел я по кромке
безлистного леса,
любил — не любя,
и не веря —
о верности пел;

и, чувствуя взгляд
равнодушного к песне
обреза,
лорою от песни
беды отвести
не умел...

Пусть даже не так,
сомненья свои
не кляню я,
и память свою
не стреножу, как в детстве
коня...
Не вдруг мне открылась —
никто никогда
не минует
бесстрастного судного часа
и судного дня.

На чаши весов
будет брошено все,
что имелось,
и все,
что осталось
в глухих закоулках
души...
Вот только б суметь
обрести
и терпенье и смелость
до судного дня
и до судного часа
дожить...

* * *

Все чаще ухожу искать поля,
которых мне всегда недоставало,
поскольку рос не в городских кварталах
и обнимал не в скверах тополя.

Мой отчий дом,
мои дороги детства —

в ромашках луг,
в березах косогор.
Нужды и хитрой сытости соседство,
которого не разглядеть в упор.

Что разглядеть!
Почувствовать не в силах!
Ни по какой статье не обвинить.
Для этого необходимо было
своим дорогам детства изменить.

Да! Изменить!
Сменить штаны на брюки,
косоворотку — на рубашку «шик»
и одолеть нелегкие науки,
дабы не выпирали во мне мужик.

И сдался он.
Но все-таки оставил
в душе тоску с печалью пополам
по дружным при отлете птичьим стаям,
по шелестящим на ветру хлебам.

Не потому ли,
под шуршанье шин
уснув,
я и во сне брожу полями
и все пытаюсь для себя решить,
как повенчать березы с тополями.

* * *

В полях моих
печально и светло
от выпавшего поутру зазимка.
И мне печально.
И не нужно слов
о верности березам и осинкам.

Я громкой верностью
переболел.
Отдал положенное
и не каюсь.
К постам не рвусь,
в себе не замыкаюсь
и не бегу от всевозможных дел.

Но объяснить, пожалуй,
не решусь,
зачем в полях, пустых
и молчаливых,
слежу за ходом дней
неторопливых
и Пушкина читаю
наизусть.

Евгений Геннадиевич Гушин родился в 1936 году в г. Керки, Туркменской ССР. В 1964 году окончил пединститут. Работал в газете, был помощником лесничего.

Автор сборника рассказов «Чепин, убивший орла», повести «Правая сторона».

Член Союза писателей СССР.



Евгений ГУШИН

ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ

РАССКАЗ

1

После смены леспромхозовский столяр Василий Атясов, мужик сухопарый, длиннорукий и стеснительный, взял в продуктовом бутылку белой. Было это так неожиданно, что женщины, толпившиеся у прилавка, переглянулись и покачали головами, а мужики, которым непьющего столяра частенько ставили в пример, обрадовались и стали гадать вслух: что же такое случилось с Атясовым, что и его наконец-то прорвало? И Василий, мучаясь от всеобщего внимания, торопливо засунул поллитровку в карман синей спецовочной куртки, вышел поскорее из магазина, и уж когда сбежал с крыльца, притормозил, замешкался, будто забыл, куда дальше. Топтался нерешительно. В один конец улицы поглядел, в другой. Бутылка неудобно оттягивала карман. Вдохнул.

Сегодня он решился, наконец, сходить к Тимофею. Сколько ни оттягивай, а от

себя, видно, никуда не денешься, надо сходить. А то до холодов дотянешь и снова будешь мучиться от своей нерешительности. Нет, если уж решился, то надо делать, пока тепло. Так он думал, стоя возле крыльца, и соображал, как идти к Тимофею. Напрямик или окружным путем, мимо своего дома. Поглядел еще вдоль улицы. Увидел свой дом. Его нельзя не увидеть. Он выделяется высотой среди других строений и редкостной отделкой. Казалось, это из-за своей удивительной отделки дом привстал на цыпочки, чтобы отовсюду его было видно. Ноги сами к нему вели.

Срубил Василий пятистенник из листовенницы. Чисты и золотисты были свежие бревна, будто светились изнутри. Однако сруб своим видом Варю не поглянул, и она заставила мужа облицевать стены на городской манер — узкой плашкой в елочку. Желание супруги столяр исполнил: облицевал бревна плашкой, а саму плашку протравил марган-

цовкой и покрыл в несколько слоев бесцветным лаком, так что дом засверкал, как полированный шифоньер. Под крышей навесил кружевные карнизы, а на наличниках окон вырезал пузатых целующихся голубей.

Василий замедлил шаги возле дома и, сощурившись на позолоченные низким солнцем окна, разглядел за стеклами глухие занавески. Значит, Варя еще не пришла из потребсоюза. И Сережки нет. Его она с утра уводит к матери, чтобы не слонялся с мальчишками по улицам, а помогал по хозяйству.

Это было на руку Василию: никто не задержит. И он хотел уже идти дальше, но вдруг будто уколосся: из смежного двора, отодвинув сломанную штакетину, на него глядела соседка Федоровна. Вставила в пролом, будто в раму, бурое, похожее на печеную тыкву лицо и глядела, недоумевала, видно, куда это мимо своего дома подался Атясов. А ниже, в пролом же, выставил острую морду нелюдимый старухин пес, будто и ему интересно.

Федоровну еще называли Золотой Рыбкой. Появилась на селе в войну вместе с другими эвакуированными и беженцами. Ходила старуха из дома в дом и гадала на фасоли про фронтовиков. По доброте ли ее или оттого, что за хорошие предсказания подавали щедрее, но только исход всех гаданий оказывался благополучным. Вот и прозвали ее так. В благодарность, в насмешку ли — не поймешь.

После войны нездешние люди понемногу рассосались, а Федоровна заняла чью-то брошенную избушку и осталась в ней. Желаящих погадать становилось год от года меньше, а потом старуху в сельсовете припугнули выселением, и она поутихла. А потом появился у нее черный трехлапый пес. Он неотвязной тенью ходил за старухой по пятам, и она запрягала его в тележку или в сани, чтобы съездить за хворостом в лес.

Женщины пугались, видя странную повозку в две силы — челоувечью и собачью, мужики отчего-то смущались и отворачивались. Однажды и Василий видел, как черный кобель, натужно упираясь тремя лапами, тащил по рыхлому снегу большую вязанку дров. Федоровна подталкивала воз сзади жердиной и не помогала, а только мешала, когда налегала на жердину, чтобы не упасть. Как

раз против окон Атясовых, где Варя посыпала тропку золой, чтобы не так скользко было, черный кобель совсем выскочил из сил. Он лег и хватал снег горячим ртом, а Рыбка ослабила веревку на шее собаки и гладила мокрую шерсть на судорожно вздымающихся боках, говорила что-то утешающее, ласковое.

Не по себе стало Василию. Он выскочил из дома, чтобы помочь, но кобель, не поднимаясь, с таким остервенением на него зарычал, что Василий стусевался и ушел в дом, думая, что надо бы поговорить в сельсовете насчет соседки. В сельсовете оказалось, что он не первый за нее просит. Ей уже предлагали и машину, и избушку отремонтировать, но та отказывается. Говорит, что на ее век хватит и старой избы, и хворосту в лесу. А что касается собаки, то как запретить Федоровне возить на ней. Нет закона, который бы запрещал возить на собаках. На Севере вон поголовно ездят на собаках и не жалуются. Даже по телевизору показывают. И ушел Василий из сельсовета со смутным беспокойством. Вроде бы и убедительные слова ему говорили, и в то же время кто его знает. После этого он озлился на старуху за потраченное попусту время и теперь, видя, с каким интересом смотрит она на него из-за забора, досадливо поморщился.

«Выставились в четыре глаза. Вас только не хватало», — подумал он в сердцах и пошел туда, куда шел, в конец села, и на душе у него было нехорошо, будто уличили его в чем-то худом.

За селом, между огородами последних домов и темной, зубчатой стеной леса, напоминающего перевернутую вверх зубьями пилу, лежало поле, поросшее невысокой сорной травой, уже заметно увядшей. Никто ничего здесь не сажал, не сеял, потому что поле числилось за авиаторами. Два раза в неделю, а если были свободные места, то и чаще, садился тут рейсовый вертолет, курсирующий по таежным селам. Пилоты брали на борт нескольких пассажиров и сами же продавали им билеты.

Приземлялся здесь и небольшой вертолетик лесной противопожарной службы. Летчики-наблюдатели заправляли баки горючим, обедали в дешевой леспромхозовской столовой и летели дальше кружить над тайгой.

Специальных строений на аэродроме не было. Под навесом, сколоченном из

горбылей, хранились бочки с бензином и заправочные приспособления, а в стороне от заправки, на краю поля, стояла усадьба пожилого мужика Тимофея, который несколько раз в лето скашивал литовкой траву на поле, прогонял забредавших сюда деревенских коров, встречал и провожал вертолеты. К нему и шел Василий, покусывая сухую былинку, слушая, как посвистывает в голенищах сапог жухлая трава, и удивляясь: вчера еще вроде поле молодое зеленело, а вот уж укатилась весна и лето на исходе. Как все-таки незаметно проходит одно за другим, и от этой быстротечности тоска ложится на душу.

Тимофей во дворе насаживал на лопату новый черенок. Увидел Василия — замер с занесенным обухом топора, постоял так, раздумывая, ударить или нет, и бережно, будто боясь сломать березовый черенок, прислонил лопату к стене дома, ждал.

— Василий, ты ли, че ли? — спросил он с некоторым удивлением, потому что заметил, чем оттянут карман столяра.

— Я, — сказал Василий с неловкостью. — Зашел вот...

— А я тут лопату подновляю. Картошку скоро копать.

— Ну так работай, я подожду.

— То ли ее завтра копать, картошку-то, — улыбнулся Тимофей крупным лицом. Он выше Василия, и черты лица у него резкие, какие-то неотесанные. Нос большой, костлявый. Все у него твердое: и нос, и лоб, и впалые, обветренные щеки. Прорезь рта неожиданна, и от самых его краев начиналась колючая, как стерня, рыжеватая щетина. Очень мужское у Тимофея лицо, а улыбка — детская, беззащитная. Даже странно ее видеть на таком каменно твердом лице.

— Пошли в избу, — пригласил Тимофей и по привычке потряхнул верхонки одна о другую.

Сколько Василий знал Тимофея, всегда на его руках были брезентовые рукавицы — верхонки, и, наблюдая рослую, чуть сутулую Тимофееву фигуру, он думал, что эти верхонки давно уж приросли к живой ткани рук и что под брезентовой кожей руки двупалы, как верхонки. Есть только большой палец и ладонь, которые могут сжиматься и разжиматься, на подобие рачьей клешни, поднимать что-нибудь тяжелое, громоздкое, которое не всем под силу. И вообще казалось, что Тимофей самой природой создан для

тяжелой, грубой работы, к которой он всегда готов. Благо, и верхонки на руках.

Вошли в чистую горницу. Василий снял у порога сапоги, чтобы не натоптать, и, пройдя к столу, выставил уже надоевшую бутылку.

— А ведь мне нельзя, Василий, — сказал Тимофей в некотором замешательстве. — Пожарников надо встренуть.

— Ну, нельзя, так и не надо, — не очень расстроился гость. — Тогда просто посидим. Поговорить надо.

— Зачем просто? Чаю подогрею.

Тимофей подал чай, принес банку магазинного варенья, хлеба.

— Ну, как тут жизнь? — поинтересовался Василий, задумчиво отхлебывая чай и собираясь с мыслями.

— Идет вроде...

— Вертолеты, значит, летают?

— Летают, куда им деваться.

Василий вздохнул, повертел в пальцах стакан и отодвинул.

— Ты, Тимофей, только не смейся. Может, оно и смешно, а ты не смейся. Тут дело вот какое... Вертолет мне охота сделать...

Тимофей отпил глоток, тоже отодвинул стакан, стал смотреть на гостя. Шутит, не шутит? Спросил:

— Это как?

— Так... Сделать маленький вертолет, полететь над полем, над лесом. — Василий растопырил ладонь и повел ее над головой, показывая, как бы он полетел.

Тимофей посмотрел на ладонь Василия, изрек уверенно:

— Не полетит.

— Почему? — Василий опустил руку на стол. — Думаешь, не смогу? У меня хотя грамотешки не шибко много, а глаз цепкий. Вот, скажем, надо раму сделать. Я на нее поглядел... — Атясов повернулся к окну и стал изучать раму. — Я на нее поглядел, и уже все размеры у меня вот где, — стукнул себя указательным пальцем по лбу. — Хочешь, я тебе размеры сейчас на бумажке напишу, а потом смеряем рулеткой и проверим.

— Так это рама, — усмехнулся Тимофей безгубым ртом.

— Возьмем вертолет, — загорячился Василий. — Мне бы только вокруг него походить, заглянуть в кабину и хорош. В точности сделаю. Насчет механики не ручаюсь, а каркас выдержу верно.

— Все равно не полетит, — упрямо качал головой Тимофей. — Не фабричный будет, потому и не полетит. Это, парень, вертолет... Не что-нибудь. Это тебе не раму изладить. Не управиться тебе.

— Управлюсь, — сказал Василий твердо и повторил: — Управлюсь.

— А потом, я слышал, будто нельзя самодельные-то, — продолжал Тимофей, еле заметно улыбаясь. — Ты вот улетишь на ем в Америку, поминай тебя как звали.

— Я? В Америку? — изумился Атясов. — Чего я там забыл?

— Кто тебя знает. Сведения передашь.

— Какие сведения? — ошарашенно спрашивал столяр.

— Какие бывают сведения...

— Зря ты так про меня, Тимофей, — загорюнился Василий. — У меня тут жена, пацан... В Америку... Сто лет она мне не нужна, Америка.

Тимофей уже открыто улыбался щербатым ртом.

— Да это я так... Шучу... — И видя, что гость обиделся, спросил уже не насмешливо, а сочувственно: — И давно это у тебя?

— Да нет. Недавно, — суховаго отозвался Атясов.

— Может, с детства метил в летчики?

— Да нет. Не метил. С пацанами бегали вертолеты смотреть на это поле. Все бегали, не один я. В армии насмотрелся разных самолетов-вертолетов — и ничего. А тут вдруг накатило — спасу нет.

— Ты вот что, — наставительно сказал Тимофей, — купи билет, да слетай в райцентр и назад. Чтобы зуд-то прошел.

— Я пассажиром не хочу.

— Вот беда, — опечалился Тимофей и, помолчав, спросил: — Ты в столяры-то как пошел? Поди, отец заставил?

— Не заставлял он. Когда хворал сильно, подозвал меня. Тебе, говорит, дедов инструмент оставляю. Деда кормил, меня кормил и тебя прокормит. Вот и начал я столярничать. Не пропавать же инструменту, да и матери помогать надо было.

— Отец худому не научит, — похвалил Тимофей. — Столяром без куска хлеба сроду не останешься. У тебя сколь в мастерской выходит?

— По-разному...

— Ну, а в среднем?

— Где-то за двести...

— Во! — поднял Тимофей негнушийся палец. — Да еще калымишь. Разные там рамы, табуретки. Калым-то с сотнешку дает?

— Дает.

— Вот он, дедов-то инструмент. Пацану его передашь, глядишь, и эта, как ее... династия будет. За нее нынче хватят.

— Пацану, говоришь, передать? — поднял глаза Василий.

— Ну, сыну своему.

— А если он не захочет? Вдруг у него другой талант откроется? — Василий отрицательно помотал головой. — Отец отцом, только каждый своим умом должен жить. Пацан к машинам потянется, а я его в столяры... Династия... — Василий криво усмехнулся. — Это, значит, где ребенку повезет родиться? У артиста родился, есть ли способности, нет ли, а иди в артисты? У повара родился — берись за черпак. Так что ли?

— Оно, видишь, тут как... Ты вот родился, а отцово ремесло уже в тебе сидит. Вроде как... наследственность. Я читал в газетке.

— А у летчиков от кого наследственность? — не поддался Василий. — Самолеты давно ли появились. Или Гагарина возьми. Кто у него в космосе летал, отец или, может, дед? Смеешься, Тимофей? Ну и смейся, ведь смешно. Наследственность... Нет, что ни говори, а я не согласный. Потянется Серега к другому делу, перечить не стану. Инструмент в печку брошу, гори он огнем, а жизнь пацану не испорчу.

— Зачем же в печку? — осудил Тимофей. — Старый инструмент кому хочешь сгодится. Лучше продать.

— Да я пока не собираюсь его бросать, — улыбнулся столяр, — Серега еще только в третий пойдет. — Какие у него еще склонности. Кормить, одевать надо.

— Выбросить в печку, — все еще сокрушался Тимофей. — Попробуй выбрось. Жена тебе выбросит, бедный станешь.

— Это точно, — согласился Василий. — У нас и дом от дедова инструмента, и обстановка от него, и сыты, и одеты, слава богу, не хуже других. Все у нас на нем держится. Варя это знает. Я как-то оставил рубанок в сырой стружке, так она меня отчитала. Потому что лицинная тряпка — от рубанка. А оде-

ваться она любит. Страсть прямо. Мне вот все равно, в чем. Есть чистая рубашка, чистые штаны, сапоги без дыр — и ладно. А ей — нет. Увидит на складе кофту, особенно не нашу, сама не своя, пока не купит.

— Баба... У них свое, — отозвался Тимофей. — Только хуже нет, когда жена в торговле работает. С одной-то стороны, вроде бы и ничего. Для дома достанет и то и другое, уж торгаши себя-то всегда обеспечат. Это дело известное. А с другой стороны... Товаров видит много, глаза и разбегаются. Не видела бы, так лучше, а тут умри, а купи. Не купишь — сразу мужик плохой, мало зарабатываешь. Да разве на все ее приходи заработаешь? Я через это и разошелся со своей. И лучше. Никто не дергает. Ты, парень, укорачивай свою-то. Эт-то в селе встретила, так и не поздоровалась. Где ей, такой разодетой, с каким-то мужиком здороваться. От тряпок вся ихняя гордость. Укорачивай ее: миллионер, мол, я ли, че ли. Мало ли чего на складе не лежит. Всего не купишь, другим оставь.

— А-а, пускай, — махнул рукой Василий и насупил. — Пусть одевается, раз у нее интерес такой. Мне вот другое надо, Тимофей... Накатилось, веришь — спасу нет. Уж и снится стало, будто лечу над этим полем, над лесом, и так мне хорошо, так сладко, душа разрывается. Сроду со мной такого не было.

— Че с тобой делать-то... — раздумчиво проговорил Тимофей и долго смотрел на Василия молча, потом сказал: — Ну дак смастери себе вертолет, раз уж так приперло. Вот пожарники прилетят, подпущу тебя к машине. Гляди, шут с тобой.

— Вот за это спасибо, — повеселел Атысов. — Я знал, Тимофей, что ты хороший человек, потому и пришел.

— Будет тебе, — поморщился Тимофей. — Хороший... А насчет механики попроси Мишку, племяша моего.

— Это который в гараже слесарем? — Мишку Василий немного знал. Маленький мужичонка, шустрый такой, глаза пронырливые.

— А что, Мишка слесарь хоть куда, — заторопился Тимофей, уловив на лице гостя раздумье. — Он хотя и прикладывается к этому делу, — кивнул на бутылку, — а моторы знает. Это у него не отнимешь.

— Можно и Мишку, — согласился Василий, понимая, что другого помощника ему, пожалуй, не найти. — Ты поговори с ним, Тимофей. Я ему заплачу.

— Еще платить, — хмыкнул Тимофей. — За бутылку сделает.

— Нет, это неправильно, — запротестовал столяр. — Раз заработал — отдай. Это дело такое.

Но Тимофей уже не слушал его, он прислушивался к чему-то другому. Василий глянул в окно, куда уставился хозяин, и увидел, как поле прочеркнула бесшумная тень вертолета, и только после этого услышал рокот мотора, неожиданной, сильный.

— Вот они, пожарнички, — проговорил Тимофей, поднимаясь. — Ты вот что: посиди тут, а как летчики уйдут, так и приходи. А то они не любят, когда трутся посторонние.

В окно Василий видел, как двое летчиков, невысокие, похожие друг на друга, может, потому, что одеты были в одинаковые белые рубашки с закатанными рукавами и на головах у обоих одинаковые форменные фуражки, поздоровались с Тимофеем за руку, весело что-то сказали ему и двинулись в село.

Когда истомившийся Василий вышел, Тимофей, как часовой, прохаживался возле вертолета.

— Гляди сколь влезет, — разрешил он.

Вертолетик был маленький. Василий измерил его длину от носа до хвостового пропеллера рулеткой, оказавшейся в его кармане, и, сощурившись, пристально глядел на лопасти основного винта, на крошечные, словно игрушечные, колеса — пытался запомнить машину во всех подробностях. Потом он сквозь стекло заглянул в кабину, рассматривая ручки управления и многочисленные приборы. Пытался понять их назначение.

— Тут без поллитры не разберешься, — хохотнул Тимофей.

— Можно дверцу открыть? Поглядеть поближе, как и что, — попросил Василий.

Но Тимофей затвердел лицом:

— Глядеть — гляди, а руки придержи. Ничего ими не касайся.

— Да я же не съем.

— Сказано — нельзя, — твердо стоял на своем Тимофей. — А то рассерчаю и глядеть не разрешу.

Василий бродил возле вертолета, за-

помятая размеры, опускался на колени, изучал машину снизу, осматривал еще и еще спереди, с боков, до тех пор, пока не услышал молодой, насмешливый голос:

— Это-то что тут за комиссия?

Тимофей растерялся от неожиданного появления летчиков, оправдываясь, заторопился:

— Это не комиссия. Это наш столяр Атясов. Он вертолет хочет изладить. А руками он нигде не касался.

— Значит, не касался? — сурово спросил один из летчиков и, повернувшись к Василию, потребовал:

— А ну, покажи руки!

Василий с готовностью протянул ладони.

Летчики расхохотались, похлопали столяра по плечу.

— Значит, вертолет хочешь?

— Хочу, — оправился от испуга Василий. — Только не знаю, как рули работают. Мне бы раз глянуть...

— Ну дает! — смеялись те. — А «Москвич» не хочешь? Или «Жигули»?

— Не хочу.

Переглянулись не то с насмешкой, не то с одобрением.

— Толк знает мужик.

Потом один из летчиков открыл дверцу, сел в кресло и стал показывать, как он пилотирует. Тянул ручку на себя, нажимал на педали, щелкал переключателями и объяснял.

— Ну, понял?

— Понял, — качнул головой Василий, стыдясь злоупотреблять терпением занятых людей.

— Тогда от винта!

Летчики уюстились на сиденьях. Сквозь стекла было видно, как они весело переговаривались, посматривая на Василия. И вдруг — по-мотоциклетному затрещал мотор, лопасти винта сначала медленно, будто неуверенно, крутнулись и слились в сплошной сверкающий круг, подминая траву тугим ветром.

Вертолет качнулся, его игрушечные колесики оторвались от земли. Машина невысоко зависла в воздухе, медленно поворачиваясь носом к лесу, и вдруг пошла вперед, поднимаясь все выше и выше. Поблескивая на солнце зелеными боками, она легко взмыла над синим лесом и, стрекоча, поплыла в заоблачье.

— Как стрекозка, — задумчиво сказал Василий, не в силах оторвать глаз от не-

ба, в котором уже ничего не было видно, только далеким эхом дрожал воздух.

— Пошли, — тянул его за рукав Тимофей, потому что к ним из избы уже шел Мишка.

— Вы че это бутылку беспризорной оставляете? — говорил Мишка улыбочиво, поминутно сплевывая себе под ноги.

— Кто ее дома-то обидит? — спросил Тимофей.

— Как кто? А я не человек? — радостно ухмылялся Мишка, маленький росточком, тщедушный мужичонка, даже удивительно было, что он родственник Тимофею.

Узнав про желание столяра, Мишка загорелся:

— Вертолет — это то, что надо! Когда в нашем ларьке выпить нету, взял и слетал в районцентр. Там-то завсегда. Так что мотор я тебе сделаю. Это — мертво.

— У меня еще и мотора нет, — признался Атясов.

— Как нет? — Мишка сплюнул, растер плевком носком стоптанного ботинка, задумался и вдруг встрепенулся: — Стоп, Вася, с тебя пузырек. Будет мотор. — И, оглянувшись, будто их кто мог услышать, зашептал: — В заготовленные старые аэросани есть. На сосну по пьянке налетели. Сани-то угробили, понятно, а мотор — целый. Он сзади ведь!

— А отдадут они его? — усомнился Василий.

— Отдадут-ут! — лихорадило Мишку. — Главное — со Степановым, с ихним начальником договориться. Мы к нему вместе пойдем, потому что тебя одного он сделает как хочет. А со мной — не-ет... Я его как облупленного знаю. Он у меня знаешь где? Он у меня на крючке, мы его сразу за жабры. Так, мол, и так: отдай мотор по дешевке и не греши. А мотор — само то. Одно добро.

— Во че делает! — восхитился Тимофей, глядя на своего племянника. — На живом месте дыру вертит. Не пил бы, большим человеком был бы. Может, уже завгаром был бы.

Допивать бутылку Василий с мужиками не стал и заторопился домой. Не хотелось до времени Варю расстраивать.

2

В просторном деревянном доме, куда привел Мишка Василия, сидела за канцелярским столом девица, перекидыва-

ла костяшки на счетах. Стены были увешаны плакатами с заглавными словами: «Охотник, помни!» и «Охотник, знай!». Вдоль стен стояли тяжелые скамейки, известка над ними дочерна вытерта спинами посетителей.

Мишка дурашливо облапал девицу сзади.

— Здоровы были!

Девица презрительно повела на него длинными глазами, равнодушно освободилась от его рук.

— Начальство у себя?

Она не ответила, да Мишка как будто и не ждал от нее ответа. Подмигнул Василию, потащил к другой комнате, дверь в которую была обита черным дерматином, как у всякого уважающего себя начальства.

Степанова, оказалось, Василий немного знал, иногда с ним встречался на улице, но знаком не был и потому не здоровался. Сейчас ему было неудобно. Степанов — мужик в годах, лысый начисто, а брови каким-то чудом сохранил густые, до того густые и пышные, что они казались чужими на его лице. Он подал Василию руку, кивнул на стул. На Мишку он даже не взглянул и сесть не предложил. Тот сам уселся.

— Такое дело, — начал Василий без обиняков, потому что крутить вокруг да около не умел и не любил. — У вас, говорят, ненужный мотор есть. Я бы его купил.

— Кто говорит? — спросил Степанов, косясь на Мишку.

— Да есть такие...

Глаза у Степанова цепкие, со смоляным блеском, какие-то очень уж зоркие, такие, кажется, человека насквозь видят. На Мишку он посмотрел остро из-под своих бровей, и тот бесповоинно заерзал на своем стуле.

— Ненужного не держим, — проговорил Степанов. — У нас все только нужное. Не знаю, кто вас так неверно сориентировал.

— А сани-то! — не вытерпел Мишка. — Которые в складе. Ведь на них сто лет никто не ездит!

— Сейчас не ездим, а отремонтируем — и будем ездить.

— Да че там ремонтировать! Дешевле новые...

— А ты не суйся в чужие дела, — обрезал его Степанов. — Это мы уж сами разберемся, что с ними делать.

Василий, проклиная в душе Мишку, поднялся виновато.

— Ну, нет так нет, извините, если что...

— Ничего, ничего, — вежливо подхватил Степанов и тоже поднялся со своего стула, прислонился к подоконнику. Смотрел на Василия без злости и недовольства. С интересом смотрел. — А зачем вам, если не секрет, этот мотор? Вы ведь столяр, а не охотник. Это охотникам сани для промысла нужны. А вам?

Василий замешкался с ответом, и тут встрял Мишка:

— Ему на глассер надо. По речке плавать!

Атясов густо покраснел. Речка по селу протекала каменистая, мелкая. Какое по ней плаванье. Со стыда готов был под пол провалиться. Промолчал.

Степанов неопределенно покачал лысиной, но в подробности плавания по речке на глассере вдаваться не стал. Какой-то устойчивый интерес был в его лице.

— Сани у нас действительно есть, — заговорил он спокойно. — Сломанные. Все исправить никак не соберемся. Времени нет. То одно, то другое. Сейчас отлов соборей на носу. План большой, а у нас и клеток-то нет. Вот если бы вы... — Степанов голосом подчеркнул эти слова. — Вот если бы вы подрядились нам с полсотни клеток сделать, выручили бы нас, тогда как-нибудь решили бы и с мотором. Продали бы его вам, хотя промысловики на него давно зуб точат.

— Да сделает он вам клетки! — закричал Мишка. — Это ему как семечки. Сколь надо, столь и сделает!

У Василия заломило в висках. От других столяров он знал, что за клетку платят по рублю, а это разве цена для серьезного человека? С клетками работа кропотливая, муторная, себе в убыток. То-то за них никто и не берется. Но это другие, им мотор не нужен. А куда ему деваться? Такого мотора больше ни у кого нет.

Атясов согласился чуть не плача.

Степанов позвал девицу из приемной, и она выписала тут же две бумажки. В одной Василий расписался в получении пятидесяти рублей аванса за клетки, в другой за то, что вносит эти деньги в кассу заготовщины в счет мотора.

Василий вышел на улицу в большой растерянности.

— Да че ты кислый такой! — горячо шептал Мишка. — Все нормально. Отдадут тебе мотор по дешевке. Уж Степановато я знаю как облупленного. — Помолчал, сплюнул под ноги, поинтересовался: — Тебе колеса какие нужны? От мотороллера?

— Вроде бы.

— Хочешь, сейчас достану? Пока у меня настроение. Только трояк надо. Выпить кое с кем. Без этого дела не делаются.

Василий дал три рубля и пошел прочь.

От природы Атясов был человек застенчивый, не любил надоедать людям, а тем более приставать с просьбами, но тут хочешь не хочешь пришлось ходить к знакомым и незнакомым людям, кланяться то одно, то другое. Противно, а куда денешься? Надо фанеры толстой и тонкой, надо хорошего клею, да мало ли еще чего надо. Легче сказать, чего не надо.

Заглянул Василий в тихую еще школу. Там в кабинете по труду ребяташки строили авиамодельки. Василий похвалил их за умение, и это польстило учителю, молодому городскому парню. Тот начал Василию все показывать и рассказывать, а когда столяр пообещал напилить тонких реек, совсем растрогался и дал почитать несколько книжек про вертолеты, которыми Атясов интересовался особенно. Свое обещание Василий выполнил, принес реек и другой полезной мелочи. Потом он заходил еще к этому учителю, как бы между прочим заводил разговоры про вертолеты, однако тайны не открывал.

А еще через неделю снял с книжки триста рублей и днем, пока жена была на работе, привез домой мотор вместе со старым пропеллером на валу, спрятал в сарае под брезентом. Туда же затолкал потрепанные колеса от мотороллера, которые добыл ему Мишка.

Озабоченно присел возле приобретенного, не зная, радоваться или огорчаться. Степанов за мотор деньги сорвал порядочные — триста рублей. Правда, Василий заплатил лишь двести пятьдесят, остальные внес раньше, когда получил за клетки, но это не утешало. Теперь с клетками возись себе в убыток. Колеса тоже недешево обошлись. В общем, от трехсот рублей ничего не осталось. Последние рубли на бутылки разменял: то-

му надо поставить, другому, третьему. Нигде насухую не шло.

Но не столько денег было жаль Василию, как совестно перед Варей. Что-то скажет она, когда узнает, что снял он деньги с книжки без спросу, тайком. Ведь сроду с ним такого не случалось. Зарплату отдавал до копейки, приработок тоже отдавал, не припрятывал, как другие, пятерку-десятку. Зачем? Он не пьет, не курит, а на столовую жена сама даст.

Вздыхнул Василий, мысленно повинился перед женой.

Познакомился он с ней в потребсоюзе, куда его начальство послало подремонтировать окна и двери. Василий только вернулся из армии, носил солдатское, лицом был свеж и весел. И работал он споро и весело, изголодавшись по делу. В потребсоюзе сидели все больше молодые девки. Они, не скрываясь, тарашились на Василия, заговаривали с ним. Здесь же, среди других, была и Варя. На столяра она игриво не поглядывала, но, даже опустив глаза на бумаги, чутьем видела каждое движение парня. Уж она-то раньше других угадала в нем много жизни.

Василий подогнал двери к косякам, отладил створки окон, а когда главный бухгалтер Ширяев попросил врезать новый замок в его стол, он и это сделал и даже не заикнулся о дополнительной плате, будто работа ему ничего не стоила.

Когда столяр собрался уходить, Ширяев сказал:

— Проси, солдат, что хочешь. Надо — шапку тебе ондатровую организуем. Как номенклатурный товарищ в ней будешь.

— Солдатскую еще не износил.

— Может, костюм желаешь? На складе есть импортные.

— И с костюмом погожу.

— Ну, тогда выбирай невесту. Любую отдадим бесплатно. — И сделал широкий жест в сторону зарумянившихся и притихших девок.

И Василий посмотрел на Варю.

Варя кожей почувствовала на себе его взгляд, такой осязаемый, будто бывший солдат поглаживал ее рукой. Она отчаянно покраснела и подняла на него серьезные раскосые глаза. Они у нее были такие обещающие, что Василий задохнулся от предчувствия.

Вечером он дождался ее на улице, смело и просто подошел к ней, и она этому не удивилась.

Гулял с Варей Атясов недолго. Когда упал снег и установилась санная дорога, сказал ей: «Зачем нам время переводить на гулянье? Пока снег неглубокий, самая пора бревна подвезти. Давай-ка поженимся и начнем дом строить».

Деньги к этому времени у парня завелись, да и Варя оказалась девка не промах — загодя копила, так что строить было на что. Домишко, оставшийся Василию от отца-матери, отживал свое, и родители Вари предложили молодым пожить пока у них, однако Варя наотрез отказалась. Нам, мол, пора свои углы отстраивать, свою домашность заводить. Как ни худа развалюха, да своя, мы в ней хозяева.

Тут и свадьбу сыграли. Теснота была в избушке — не только в пляске разгуляться, сесть негде. Но молодожены не горевали, только посмеивались. «Не тужите, гости, приходите к нам летом — в хоромах примем».

Сказанные в веселый час слова оказались не пустыми. Сразу после свадьбы взял Василий в леспромхозе трактор с санями, привез бревен и досок, принялся размечать сруб. И не как-нибудь, сразу на пятистенки замахнулся.

Всю зиму стучал топором, готовил детали дома, а по весне, когда земля подсохла, пришли товарищи по работе и помогли возвести стену и поднять крышу. Старая избенка оказалась внутри нового дома, который, казалось, заглотил ее.

Как и обещали молодые, к середине лета справили новоселье. Пришли гости и ахнули: не голые стены предстали их глазам. На леспромхозовскую ссуду Атясовы справили нерусский мебельный гарнитур, купили холодильник, стиральную машину и телевизор с большим экраном. Вот как: все одним махом!

Нет, не ошибся Василий, разглядев в Вариных глазах обещание близких радостей. Женой она вышла куда с добром. И пышки в комнатах соберет, и мужа обстирает, накормит, а вечером прижмется к его груди, и у того дыхание теснится и голова тяжелеет от необъяснимой сладости. До чего же богатой оказалась его Варя, сколько черпает от нее радостей, а вычерпать не может, всегда она ими полна. И ни споров,

ни ругани. О чем спорить, если Варя вся в заботах о доме, старается достать для дома хорошую вещь, которую в магазине так просто не купишь, а Василий прирабатывает по вечерам. Со ссудой рассчитались, уже лишние деньги завелись, стали откладывать на книжку.

Все хорошо было, что и говорить, а вот теперь он, Василий, снял тайком деньги, израсходовал их на этот мотор, на старые колеса, которым на свалке и место.

Изумится жена, горько ей станет...

3

Раньше, идя с работы, любил Василий лишний раз глянуть на свой дом, на его высокую крышу и крепкие, под лаковой плашкой стены. Посмотрит на него Василий и почувствует себя прочным, защищенным этими стенами. Кажется, никакая беда не достучится.

А теперь, подходя к калитке, Василий вздохнул и опустил глаза на дорожную пыль. Не глядел на дом, будто стыдился его. Он и калитку отворил неуверенно, не по хозяйски, как чужую, и на крыльцо поднялся тихонько, стараясь не греметь сапогами. Пошарил за косяком, где заведено было оставлять ключ, но пальцы нащупали между бревен лишь лохмотья сухого мха. Неужели Варя так рано?

Василий как был, в спецовке, в сапогах, прошел в большую комнату и замер. Его жена, в цветастых штанах и такой же кофте, стояла перед зеркалом шифоньера и солнечно улыбалась.

— Ну, как? — спросила она, расправляя складки кофты под пояском. — Нравится? На полчаса выпросила, померить.

— Красиво, — осторожно сказал Василий и увидел на столе сберкнижку, которую Варя, судя по ее лицу и голосу, не раскрывала.

— Твою жену да модно одеть, знаешь бы какая была? — говорила она игриво, то одним, то другим боком поворачиваясь к зеркалу.

— Будто тебе нечего одеть. Полный шкаф платьев да кофт, — деланно обиделся Василий.

— Что ж, теперь до старости носить их прикажешь? Ты бы видел, что у нас сегодня делалось, когда товары привезли. Ужас что творилось! То все плачут —

денег нет, а тут у всех деньги появились. Сбежались на склад. Даже уборщицы и те лезут, тоже хватают... Ты, Вася, поднажми. К ноябрьским обещали ковры подбросить. Нам бы в большую комнату и в спальню. Зайди к Ширяеву, он книжные полки заказать хочет. Сделай ему, мужик он нужный.

— Сделаю, — пообещал Василий, с тревогой наблюдая, как жена нетерпеливо поглядывает на часы.

— Ну, покупать? — спросила Варя.

— Покупай. Только куда ты в нем пойдешь?

— Куда угодно. В кино, например.

— Засмеют, — через силу сказал Василий.

— Ва-ся... Ты, оказывается, ужасно отсталый у меня. Да в городах женщины давно брючные костюмы носят.

— То в городах, — упрямылся Василий, понимая, что сейчас откроется его вина. — А здесь выйди — засмеют.

— Скажи уж, что денег жалко, — потускнела жена.

— Ничего мне не жалко. — Василий наморщил лоб, соображая, как бы начать неприятный разговор. Все равно по ее будет, так пусть здесь, дома узнает, что он снял деньги, а не в сберкассе на людях.

— Варь, я снял три сотни, — с натугой сказал он.

— Как снял? — живо обернулась жена.

— Как снимают. Снял и снял. — Первая тяжесть прошла, и Василий даже поразился своему спокойствию. Ему даже подумалось, что и на самом деле ничего нет особенного в том, что он снял деньги.

— А где они, эти деньги? — спросила Варя настороженно; видно, тон мужа показался ей подозрительным.

— Отдал, — выдохнул Василий. — Я это... мотор купил. — И покраснел, потому что смехон был его ответ, по-детски смешон и нелеп.

— Какой мотор? Для чего? Почему из тебя слова приходится вытягивать? Объясни мне, наконец, в чем дело.

— Одну вещь собираюсь постронть.

— Какую вещь?

— Варя, давай в другой раз. Ты же в сберкассе не успеешь.

— Да уж до костюма ли мне теперь. Так для чего тебе мотор?

— Для вертолета.

Варя ошарашенно посмотрела на красное, будто спекшееся лицо мужа, потом, все еще не веря, взяла со стола сберкнижку, долго вчитывалась в нее, словно там могло быть написано, на что муж истратил деньги.

— Варь... Да ты не переживай, — заговорил Василий. — Ведь не все истратил. Остались же. Да и еще заработаю. Ты меня знаешь.

— Знаю? — отозвалась Варя, с пристальным интересом рассматривая мужнино лицо, будто видела впервые. — Знаю... — невесело усмехнулась. — Это я раньше думала, что знаю. А теперь... Даже не найдусь что сказать. Да-а... Наконец-то и я дождалась от своего муженька. На работе бабы рассказывают: у одной мужик пьет, деньги сроду не отдаст, у другой треплется или еще что, а я: нет, у меня Вася не такой. Мой Вася разве себе такое позволит? Вот тебе и «мой Вася». Ухлопал деньги неизвестно на что, а жене ни звука, будто в доме она посторонний человек. Видно, правду бабы говорят: все вы, мужики, одинаковы. Это надо же... Вертолет он захотел. Дожились, нечего сказать... А завтра ты вообще заберешь все деньги и уйдешь. И никого не спросишь. Тебе же некого спросить.

Василий сначала изумленно молчал. Ему даже казалось, что эти слова говорит не Варя, а даже по виду незнакомый человек. И голос не слыханный прежде, чужой, и слова чужие. Не стал больше ничего говорить, повернулся молча, ушел к себе в сарай. Опустился на чурку, задумался.

Конечно, Василий и раньше знал, что не обрадуется жена, когда узнает про деньги, но таких обидных слов не ожидал и растерялся. Кто спорит, что не виноват? Виноват. Но ведь не спутался с чужой бабой, не напился допьяна, не скандалил. За что же она так? Подумаешь, издержал деньги. Издержал — значит, надо было. Да и можно ли из-за денег так на человека? Думал, поругается Варя, и тем кончится, а вышло вон как. Видно, и он Варю не очень-то знал.

Долго размышлял Василий, вздыхал и, горестно покачивая головой, словно жаловался невидимому собеседнику. Уже стемнело, но света он не зажигал. Зачем ему свет? Работать — все равно никакого настроения, хотя заказы ждут своей очереди. Да теперь эти клетки, про-

пади они пропадом с шалопутом Мишкой.

Уже, наверное, двенадцатый час ночи шел, когда послышались шаги и скрипнула дверь. Василий даже головы на скрип не повернул, хотя и догадался: жена пришла.

Варя постояла у порога, озлилась, что муж не обращает на нее внимания, щелкнула выключателем. Яркий свет большой лампы под потолком резанул глаза, даже слезы выступили.

— Ты что, тут ночевать собрался? — спросила Варя насмешливо.

Он промолчал.

— Чего есть не идешь? Или сытый? Своим мотором?

Василий снова не ответил, и тогда Варя решительно вошла в сарай, отдернула брезент, с горькой усмешкой рассматривала мужнины приобретения.

— Ну так что будем делать? Расходиться?

Василий пожал плечами.

— Ничего себе... Сам же виноват, на меня же смотреть не хочет. Он, видите ли, обиделся...

Василий поднял глаза и увидел, что жена стоит перед ним в обычном своем платье, в котором она ему родна и привычна, и ему подумалось, что, не надень Варя на себя тот костюм, даже по виду чужой, странный, никакой ссоры бы не получилось, что в тех пестрых штанах Варя была не сама собой и говорила ему не свои слова, а те, что пришли к ней вместе с костюмом, и ему стало легче от знакомого вида жены, и обида понемногу улеглась.

— Варя, — хрипловато от долгого молчания проговорил Василий, — ты скажи: привередливый я мужик или нет?

— В каком смысле? — осторожно поинтересовалась Варя. Она не такая была простушка, чтобы сразу ляпнуть «да» или «нет».

— Вообще: К еде, я, скажем, придираюсь? Например, ты что-нибудь сготовишь, а я нос ворочу. Копаюсь, в общем. А? Скажи.

— К чему ты это говоришь?

— Интересно мне, какой я. Трудно тебе со мной или нет? Придираюсь я к тебе когда? — Варя промолчала, насторожилась, и тогда он ответил сам: — Нет, вроде бы я не зануда. Сроду ты от меня худого слова не слышала. Никогда я не жалею. Хорошо мне, плохо —

не жалею. Привычки не имею. Или взять тряпки. Рубашек, разного барахла прошу я когда?

— У тебя что, носить нечего?

— Не в этом дело. Просто я для себя никогда ничего не просил.

— А-а, — поняла по-своему жена. — Костюм я хотела купить. Заперевивал уже... Как же: излишняя тряпка у меня будет.

— Опять ты не поняла, — подсаживал Василий. — Покупай себе все, что хочешь. Я о другом речь веду. Вот я сейчас прошу тебя первый раз в жизни для себя. Не мешай ты мне сделать то, что хочу. Дай ты мне душу отвести. Иначе я не человек буду.

— Вертолетик тебе не мешать строить?

— Да, — качнул головой Василий.

— Нет уж, милый, — жестко сказала Варя, — не смейся-ка людей. Ты пока что в семье живешь, так что будь добр считаться с семьей. Будешь жить один, делай что хочешь, никто тебе ничего не скажет. А эти железки, — показала рукой на брезент, — завтра же увези туда, где взял. Не увезешь — сама повыкидываю. Так и знай.

После этого она ушла, хлопнув дверью.

Василий посидел еще немного и тоже поднялся.

В кухне горел свет, и на столе был налажен ужин, но есть Василий не захотел. Разделся, умылся, полез в постель.

Варя не спала. Нашарил в темноте ее теплое плечо, и это тепло его обнадежило. В сарае разговора с женой не получилось, так, может, здесь, когда они так близко друг от друга, она поймет его, терпеливо выслушает и не поторопится сказать холодное слово.

— Варь, — позвал Василий, — давай поговорим.

— Разговаривать будем, когда железки увезешь. Тогда и лезь.

— Ну почему ты такая? Я же по-хорошему... — Он хотел обнять жену, приласкаться, как раньше, когда у них все было ладно, но Варя не приняла его, в сердцах отдернула плечо, повернулась к стене.

4

Удивительные перемены могут произойти с человеком за совсем короткий

срок. Еще какой-то месяц назад Василий жил неспешно и тихо. В семь часов он вставал без будильника, от привычного внутреннего толчка, находил в кухне еду, завтракал и шел в мастерскую леспромхоза. Начиналась смена, и он строгал, пилил, тесал, делал то, что должен был делать. Ни суеты, ни торопливости в себе не знал. Зачем и куда торопиться, если руки и без того движутся точно и к концу смены сделают положенное.

Придя с работы, ужинал, около часа дремал на диване и шел в свой хорошо оборудованный сарай, где работал еще часа четыре, выполняя заказы сельчан. Жизнь шла ровно и уверенно, не докучая особыми заботами. А теперь все сбилось с привычного ритма, будто пружина соскочила с держателя и стрелки часов рванули быстрее, чем надо. На работе Василий думал, как бы поскорее попасть в свой сарай, и заранее прикидывал, что успеет сегодня сделать. И уже не разлеживался на диване, а, наскоро перекусив чем придется, бежал в сарай. Отпирал большой висячий замок, повешенный после угроз жены все повыкидывать, и лихорадочно принимался за дело. Выкраивал по чертежам шпангоуты фюзеляжа, заготавливал бруски для лопастей винтов и другие детали, чтобы потом из фанерных, металлических, пластмассовых частей собрать то, из-за чего переименовалась его прежняя, без тревог, жизнь.

Попозже приходил Мишка, предварительно проследивший, нет ли поблизости Вари, которая могла турнуть его со двора. Мишка, крадучись, шмыгал в сарай, запирался на крюк и открывал потрепанную балетку с инструментами. Звоня ключами, запускал руки во внутренности мотора, что-то перебирал, чистил, смазывал, однако надолго его не хватало. Скоро Мишка, сплевывая на пол, что раздражало чисто плотного Василия, отступал от мотора, скромно ухмылялся:

— Плесни че-нибудь, а то здоровья нету.

— У тебя каждый день здоровья нету, — с тихой злостью говорил Василий. Он уже привык к ежедневному Мишкиному вымогательству и заранее припас бутылку. Наливал слесарю полстакана, и тот, устроившись на время, снова копался в моторе. Потом присаживался перекурить и собирался домой.

Василий его не удерживал. Сам он оставался в сарае далеко за полночь, удивляясь себе: раньше в десять вечера уже чувствовал усталость, ныли спина и руки, а теперь будто за порогом оставлял усталость. И работал, работал, боялся словно, что не дадут закончить задуманное.

Жена в сарай больше не заходила и ужинать не звала. Иногда она оставалась ночевать у матери, и Сережку домой не приводила, как догадывался Василий — специально. Мужа позлить. А когда была дома, то с Василием объяснялась знаками, как с глухонемым.

Однажды Василий не выдержал, спросил:

— Сережку-то насовсем отдала, что ли?

И тут жену прорвало. Она будто давно ждала этих слов, и ответ у нее был под рукой:

— А ты неужели соскучился? Совсем не похоже, что соскучился. Люди уж смеются над тобой. Совсем из ума выжил!

Василий замолчал, жалея, что затеял разговор, но Варе молчать не хотелось. Намолчалась, теперь много у нее накопилось.

— Вертолетик! Смех один! Ты бы лучше уж мотоцикл собрал, раз больше делать нечего. Все бы польза была. Вон Ширяевы каждую осень ездят в тайгу на мотоцикле. Кадушку груздей засолили да бочку брусники замочили. А сколько сухих грибов в потребсоюз сдали! Знаешь как заработали! А он — вертолетик. Только о себе думает. Эгоист! Да еще сына вспомнил. Как же, нужен ему сын...

А тут некстати пришла девка от Степанова из заготпушнины узнавать про клетки и начала разговор почему-то не с Василием, а с Варей... Степанов грозился пожаловаться на Атясова в леспромхоз, если он через неделю не делает клетки.

Василий, чтобы отвязаться, пообещал, и едва девка укатилась, вышел сам, сел на ступеньки крыльца, переживал.

Работа, тем не менее, у него продвигалась споро. Где-то надо было уже собирать вертолет. Делать это дома, во дворе, он не решался. Опасался, Варя и на самом деле что-нибудь сломает или выбросит, да и трудно будет катить машину к полю через всю деревню. Народ

сбежится от стара до мала, лишних слов наслушаешься. На поле зрители соберутся. Нет уж...

На другой день пошел к Тимофею проситься под навес. Тот долго кряхтел, но потом махнул рукой и даже коня дал — детали перевезти. Василий в ту же ночь все перевез к Тимофею.

Варя глядела с крыльца, как грузится муж.

— Может, тебе и чемодан сразу собрать? Чтобы больше не видеть тебя! Чтобы хоть надо мной-то народ не смеялся!

Василий уехал молча и ночевать остался у Тимофея. Варя тоже ушла к матери. Что ей одной в пустом доме делать? Сиротливый, затаившийся стоял дом, опустевший на ночь впервые за все годы. Жутковато было глядеть на его светящиеся под луной стены и темные провалы окон.

Вечером, идя с работы, Варя гадала: дома мужик или нет? Пошарила в стене — на месте оказался ключ, и у нее кольнуло под сердцем. Не стала отпирать замок, пошла к матери за Сережкой. Все не одной сидеть. И когда уже с сыном подходила к крыльцу, ее через забор окликнула Федоровна.

Федоровну Варя не любила и даже побаивалась втайне. Еще когда дом строили, она все беспокоилась: слишком уж часто и непонятно гладела старуха через забор к соседям. Заберется с вилами на сарай, будто овечкам сена скинуть, а сама обопрется на вилы и смотрит, как мужик на крыше доски приколачивает. И черный трехлапый кобель насторожит уши и тоже уставится с сеновала в соседний двор, и ему тоже любопытно.

Не раз Варя вздрагивала от нехорошего предчувствия, злилась на Золотую Рыбку, хотела высказать ей что надо, но все не решалась, язык к горлу присыхал.

Да и Василий посмеивался:

— Пускай смотрит, тебе-то что! Или боишься, что отобьет! Так она вон какая старая.

— Кто ее знает, ворожею. Не нравится мне это, на душе тревожно, — отвечала Варя, и наверное, у нее все-таки было отчего беспокоиться. Вся жизнь Атясовых проходила под неусыпным Рыбьким взглядом. Как дом строили — старуха видела во всех подробностях. Везли новую мебель — и ее старуха не про-

пустила. Купили холодильник — и на него смотрела Федоровна из-за забора. Сережку из роддома и того не проворонила, проводила в дом цепким своим взглядом. Варе к крыльцу пришлось боком идти, чтобы загородить младенца от бабкиного взгляда. Боялась, как бы та не сглазила.

«Завидует... А мы разве виноваты, что у нас жизнь хорошо складывается?» — думала Варя, но всякий раз, когда везли домой что-либо новое, ей было стыдно перед Рыбкой, будто этой вещью, предназначенной для кого-то другого, они завладели обманом, и Рыбкина завалюха казалась ей нарочно тут под боком поставленной, чтобы подчеркнуть, как несчастны одни и как удачливы другие.

— Варя, ты дрожжами не богата? — спрашивала Федоровна.

Вот еще за что не любила Варя старуху. За голос. Голос у нее на удивление был свежий, девичий. Услышишь такой голос, обернешься и не поверишь, что исходит он из сморщенной старухи, опершейся на суковатую палку.

Варя так и замерла от неожиданности. Сроду она словом со старухой не перекинулась, при встрече старалась обехать ее подальше, и вот на тебе: дрожжей просит. Понадобились ей дрожжи. Но тотчас тайная надежда ворохнулась в ней, все-таки ворожея. Вдруг да что присоветует. Надо бы позвать. Ничего уже теперь она не сглазит. Сглазить-то нечего.

— Есть дрожжи, есть! — как можно приветливее откликнулась Варя. — Ты заходи, Федоровна, в дом-то!

Федоровна вошла и зорко огляделась, узнавая вещи.

Варя усадила ее на мягкий стул, принесла из холодильника непечатый брикет дрожжей, подала. Брикет был большой, килограммовый, и старуха сказала:

— Весь кусок отдаешь ли, че ли?

— Бери, Федоровна, у меня еще есть, — сказала Варя и, вздохнув, присела рядом.

— Че вздыхаешь-то? — живо спросила Федоровна, будто дожидалась этого вдоха.

Варя махнула рукой.

— Сам-то где? На работе ли, че ли?

«А ты будто и не знаешь», — мысленно усмехнулась Варя, а вслух сказала жалостливо:

— Какая там к черту работа. Совесть-но сказать. У Тимофея он. Вертолетик строит... — И еще вздохнула: — Прямо беда какая-то. Уж лучше бы запил. С пьяницей еще можно сладить. Пошла бы к директору, так, мол, и так, образумьте. Его бы на собрании пробрали как следует, пропесочили бы, и был бы как миленький. А тут куда пойдешь? Не будешь жаловаться директору, что мужик вертолет строит. Не пьет, не нарушает ничего. Что ему сделают? Надо мной же и посмеются. А сколько денег он извел на эту затею — сказать страшно. Уж лучше бы и пропил те деньги, не так бы было обидно. Ну, пропил и пропил. С кем не бывает. Да и мало ли чего пропивают. Так ведь на глупости. И как ненормальный стал. Никого не видит, ничего не слышит. Молчит и молчит, как идол. Откуда на него такая напасть нашла? Ума не дам. Смирный был мужик, вечно слова поперек не скажет и вот — на тебе... Чего ему не хватало...

— Это оттого, что жить шибко хорошо стали, — проговорила Рыбка своим девичьим голосом. — Всего навалом в избе: и пить, и есть, и одеться. Телевизоры разные... Разбаловались люди, маются, не знают, какую им еще холеру надо.

— Да при чем тут это? — перебила Варя неуверенно.

— А при том... Раньше-то, когда жрать нечего было, глупостями не занимались.

Варя спорить не стала. Попросила тихо:

— Ты бы, Федоровна, раскинула фасоль-то.

— Ну ее к лешему, фасоль, — испуганно отмахнулась старуха. — Меня за ее вызывали. Сулились выселить.

— Да я кому скажу? Не дура. Ведь надо мной же смеяться будут, если узнают, что гадала.

— Ну ладно, жалко мне тебя. Согрешу уж.

Рыбка сходила домой, принесла темный, засаленный мешочек. Высыпала из него на стол пестрые фасолины, стала разбирать их на равные кучки, что-то нашептывая про себя.

Сережка, до этого молча сидевший с книжкой в углу, вытаращил глазенки, и Варя, спохватившись, выводила его гулять.

Рыбка, разложив фасоль, сказала:

— Знаю, милая, какая на него напасть нашла.

— Какая? — сжалась Варя.

— На его тень стрекозы упала.

Варя так и раскрыла рот, испуганно глядя на старуху. Уже жалела, что позвала.

— Будет тебе, Федоровна, пугать-то, — проговорила она наконец. — Какая еще тень? Чего собираешь-то?

— А такая. С крылышками. От стрекозки... Нет, милая, видно, не ты первая, не ты последняя. Никуда не денешься, у каждого мужика есть какая-то отдушина. Либо он пьет, либо треплется, а то как твой — строит какую-нибудь холеру, зря изводится.

— Вон ты про что, — немножко успокоилась Варя. — Говорят, у Василия и отец был тоже, немного не в себе. Может, от него что передалось? Он ведь тоже пить не пил, а иной раз заберется на крышу и горланит песни на всю деревню. Горланит и горланит. И главное, трезвый. Мне вчера мама рассказывала. Чего не знаю, того не скажу, — замаялась старуха. — Врать не стану. Ты лучше скажи мне: если уберу с мужика стрекозину тень, чем меня отблагодаришь?

— Так вы скажите сами, сколько надо.

— Я деньгами не хочу, — помотала головой Рыбка.

— Могу из одежды что дать.

— Одежда у тебя больно модная. Не по старухе.

— Ну, тогда не знаю. Скажите сами.

— Обещай, что Василий гроб мне сделает, когда помру.

— Да ты что, Федоровна! — обомлела Варя. — Какой еще гроб, ты ведь живая. Как можно!

— Ноне живая, а завтра нет. Ты пообещай.

— Так сделает, чего же не сделать... Соседи ведь...

— Уж пусть сделает. Мне в его гробу хорошо будет. Рука у него, должно быть, легкая, ласковая... На Митьку моего шибко он похожий. Такой же рукастый. Только давно нетука Митьки. Никого нетука. Все ушли, а я вот осталась, мыкаюсь... Ты уж проси мужика, пусть постарается. Я вас оттуда благословлю.

Скоро Рыбка ушла, а ошарашенная Варя как сидела на стуле, так и осталась сидеть в оцепенении, ни рукой, ни ногой

двинуть не может. Всю страх спеленал.

И тут Василий с Серезкой входят.

— Папка, они гадали, — рассказы-вал Серезка, — меня прогнали, а сами гадали фасолью. С бабкой Рыбкой.

— Вот как? — неприятно удивился Василий и поправил сына: — Какая она тебе бабка Рыбка? Надо говорить: Федоровна.

— А сами говорите: Рыбка.

— И сами зря так говорим. Ты не учись.

— А моя баба говорит, что у тебя не все дома. Она думает, я не понимаю, что это такое, а я понимаю. Это значит — дурак.

— Ты не слушай, когда про отца такое говорят, — нахмурился Василий. — Ведь я тебе отец.

— Как же не слушать, — пришла в себя Варя, — что же, теперь ребенку уши затыкать? Раз у него отец такой. Ему плюют в глаза, а он: божья роса. Видно, весь в своего батю родимого.

— Ты моего отца не задевай, — жестко сказал Василий. — Он тебе ничего худого не сделал.

— Горланил на всю деревню с крыши. Тоже посмешищем был.

— Варя!

— Да что Варя, что Варя! Еще когда я за тебя собиралась, мама мне говорила, какой у тебя отец был. Говорила, не ходи за него, тоже какой-нибудь чокнутый. Не послушалась, дура. При чем, думала, тут отец. А видно, яблоко от яблони...

— Варя, ты в себе? Такое при ребенке молоть? — оторопел Василий.

— А пусть все знает. Раз дурак, так иначе не назовешь. Жалко, маму не послушалась. Мучаюсь теперь.

— Маму она не послушалась, — горько усмехнулся Василий. — Ты ведь любила.

— Кого? Тебя, что ли? — ехидно спросила Варя. — И не думала.

— А зачем тогда пошла за меня?

— Зачем замуж выходят. Выбирать не из чего было.

— Вот и договорились, — выдохнул Василий и сел на стул, не выпуская руки сына. — Теперь все понятно. А я думала — любила. Мне всегда так казалось... — бормотал Василий и слушал, как впервые за все их годы плачет жена.

— Если не выбросишь дурь из головы, уйду к маме. Заберу Серезку и уй-

ду. Живи один, раз семья надоела, — говорила Варя сквозь слезы.

— Давай, давай... — потерянно повторял Василий. — Иди к маме. — Ему было уже все равно.

Потом они молчали, и снова сиротливо было в доме, даже еще сиротливее, чем в тот раз, когда оба они ушли из дома. Тогда хоть ушли, а тут семья в сборе, а кажется, что дома — никого, одни пустые стены.

Василий проснулся и некоторое время лежал без движения, глядя в темный потолок и соображая, который идет час. Прислушавшись к дыханию жены, которая спала теперь отдельно, он осторожно поднял голову и разглядел за занавесками слабый сиреневый свет.

«Поздно уже светает», — подумал он.

На столе четко тикал будильник. Сегодня он не зазвонит, хозяевам некуда собираться — суббота. Потому и поднялся Василий с раскладушки тихо, стараясь не скрипнуть, иначе Варя может проснуться.

Он бесшумно и быстро, как в армии, оделся и снова прислушался. Ему почудилось, что дыхание жены стало иным.

— Ты куда? — сонно спросила Варя. Василий промолчал, затаился, и жена снова ушла в сон.

На дворе было сумрачно и зябко, наверное, уже лужи подморозило. Небо было чистое, звездное, и он порадовался, что хоть с погодой повезло. Спал в эту ночь плохо, ворочался с боку на бок, видел обрывки странных снов, которые не запоминались, от них оставался лишь тяжелый осадок в памяти. Очень его погода беспокоила. То ему казалось, что на улице поливает дождь, и он даже явственно слышал шум дождя, то чудилось, что небо сплошь обложено тяжелыми, до земли, тучами, и эту их тяжесть он ощущал физически. А на самом деле оказалось лучше, чем ожидал. День обещался сильный и звонкий.

Тимофей долго не отпирал. Потом в темной комнате обозначилось движение. Скрипнули половицы, щелкнул откинутый крючок, и на пороге, в исподнем, появился заспанный хозяин. Позевывая, он впустил раннего гостя, зажег свет.

— Ты чего так рано? Ни лешего еще не видать.

— Самое время. Пока соберемся, пока что. Мишка бы скорее пришел.

— На что он тебе?

— Болты на лопастях жидковаты. Он обещал новые нарезать.

Тимофей хмыкнул, но ничего не сказал. Спросил только:

— Ты, верно, не евши. Чаю согреть?

— Мне сейчас ничего в горло не ползет.

— Боязно?

— Как тебе сказать... Мало ли что может...

— Так не лети. А то еще гробанешься.

— Не накаркай...

За окном уже порядком развиднелось, и Василий забеспокоился: Мишки до сих пор нет.

— Давай, Тимофей, выкатим машину на поле. Уж лучше там подожду, а то гляди — светло как.

Под навесом, в сумраке, едва угадывались контуры вертолета. Василий взялся за стойку колеса, уперся плечом. Творение столяра оказалось нетяжелым, к калитке выкатили вполсилы. Там остановились. Калитка оказалась слишком узка.

— Разберем забор, — предложил Василий.

— Разобрать-то разберем, — замялся Тимофей. — А потом?

— Не сомневайся, я потом поставлю тебе его, — пообещал Василий, и Тимофей молча принес гвоздодер. Забор разобрали, доски, оттащили в стороны. Снова покатали вертолет.

— Постой, — вспомнил Василий. — Ты бензину обещал авиационного.

Тимофей снова помялся, принес канистру, предупредил:

— В случае чего, не говори, что это я дал. У охотников, мол, взял. Им для пушнины дадут — обезжиривать.

— Не беспокойся, Тимофей. Я твою доброту не забуду. И забор поставлю, и шифоньер тебе сделаю.

— На что он мне, — проворчал Тимофей.

Василий перелил содержимое канистры в бак и принес из сарая заводилку — длинную палку с ременной петлей на конце.

Совсем рассвело, когда оттащили вертолет метров на сто от дома. Тимофей оставил стойку колеса.

— Давай здесь. Куда еще дальше.

— Близко от домов. Переполошим всю деревню.

— Тогда коня надо впрячь. Чего сами тащить будем.

— Это долго. Пока коня приведешь, пока что... И так уж светло. Давай, Тимофей, подсоби. Немного осталось.

Наконец машину выкатили на облюбованное Василием место. Перезели дух.

— Ну где Мишка-то? — переживал Василий. — Ведь договорились. Я ему полста рублей дал за работу.

— Вот это зря, — покачал головой Тимофей, — надо было потом дать, когда все сделает.

— Он иначе не соглашался.

— Ну вот. Жди его теперь... У него вчера в доме скандал был. Кажись, Рыбка к им приходила. Поди, рассказала его бабе, та и взяла в оборот. У его баба — гром.

Василий сплюнул с досады и, отойдя от машины, разглядывал ее со стороны чужими оценивающими глазами.

Дымное солнце, краешком высунувшееся из-за темной стены леса, осветило зеленый бок вертолета, оттенило, как ребра, переборки из-под крашеной материи. Засияло оргстекло кабины, по лакированным сосновым лопастям скользнули быстрые блики. Вспыхнула красная звездочка на фюзеляже.

— Пошто звезду-то нарисовал? — спросил Тимофей. — Звезды только на военных бывают, а у тебя — частный. Не положено.

— А пусть светит, — смущено улыбнулся Василий. — Со звездочкой как-то веселее.

— Ты че же... Полетишь? — спросил Тимофей, заметив, как напряжился Атясов, как построжел лицом.

— Не катить же назад.

— А как болты?

— Может, старые выдержат. Назад мне пути нету, Тимофей.

Василий еще раз посмотрел на свою машину, оглядывая ее всю сразу и надеясь увидеть в ней ту силу, что оторвет его от земли, прерывисто вздохнул и, решившись, полез в кабину.

Умогнулся на фанерном сиденье, закрыл дверцу приспособленным для этого оконным шпингалетом. Махнул рукой Тимофею: давай!

Тимофей поднял заводилку, зацепил ее за лопасть, нерешительно глядел на столяра сквозь стекло.

— Дергай! — кричал Василий.

— В какую сторону? — не понимал Тимофей.

— По часовой стрелке.

Тимофей медлил, соображал, видно, как идет стрелка на часах.

— По солнышку! По солнышку! — крикнул еще Василий.

— Так бы и сказал, — проворчал Тимофей, рванул петлей лопасть с такой силой, что Василий заопасался, как бы она не оторвалась. Мотор не срабатывал.

— Не пойдет без Мишки, — сказал Тимофей.

— Пойдет, никуда не денется. Ты дергай, Тимофей, дергай.

Мотор стрельнул раз, другой и вдруг гулко затрещал. Тимофей, пригнувшись, тут же отскочил в сторону, а у Василия враз перехватило горло. Потной ладонью он ухватился за ручку газа, сбрасывая обороты. Руки дрожали и были как чужие — может, от волнения, а может, и от тряски. Тряска на самом деле была сумасшедшая. Дрожало все: и фанерное сиденье, на котором уместился Василий, и тонкие, обтянутые материей стенки, и стекла кабины.

Василию удалось отрегулировать мотор на малых оборотах, и теперь он привыкал к новому своему состоянию. Он глянул в окно, увидел, как мельтешит над головой винт, и от винта стелется на земле сухая трава. Желтое облачко пыли висело в воздухе, и от этого стекла кабины казались мутноватыми.

— Ну... — сказал Василий сухими губами и перевел дух.

Раньше, еще когда только думал строить вертолет, ему казалось, что полетит он легко и просто, что машина будет послушна его желаниям, повернет туда, куда он захочет. Но вот машина обрела реальные черты, и Атясов понял: дело обстоит сложнее, чем думал. За спиной громоздкий мотор, который может не только поднять над землей, но и ударить о землю. И Василий загодя тренировался садиться в кабину, водил ручками туда-сюда, привыкал. Но тогда машина была тиха и послушна. Сейчас она была жива, перед ним все дрожало и гудело, и Василию вдруг подумалось, что Тимофея он, возможно, видит в последний раз. Но он отогнал от себя эти мысли.

Будто чужой рукой потянул на себя

Василий ручку газа, замирая от нарастающего гула мотора и воя ветра, пугаясь жуткой тряски, от которой, казалось, вот-вот рассыплется легкая машина.

Грохот все нарастал, нарастал, и вдруг Василий почувствовал, как вертолет легонько качнуло с боку на бок. Он крепче вцепился в ручки, инстинктивно глянув в окно, снова увидел Тимофея. Но увидел не так, как раньше. Тимофей будто стал ниже ростом. Василий видел его запрокинутое вверх, скалящееся в улыбке лицо.

«Лечу!» — обожгло его.

Тимофей медленно уплывал в сторону. Вот он исчез, и впереди завиднелась зубчатая стена леса, словно обожженная вверху солнцем. «На лес несет», — понял Василий и стал соображать, как бы чуточку развернуть машину, чтобы пойти вдоль леса. Он слегка потянул ручку поворота, но, такие послушные на земле, рули отчего-то не слушались. Вертолет не хотел разворачиваться. Кабина только склонилась к земле, так, что Василий едва не сползал с сиденья, и машина двигалась прямо на лес, не поднимаясь и не опускаясь.

Внизу плыл низкий кустарник, он едва не попадал под винты. Сбоку бежал Тимофей, размахивая руками, советовал, видно, подниматься выше или, наоборот, — сесть. Но сесть тут было нельзя — попадались пни и выворотни. Оставалось одно — подняться, и Василий уже не замечал Тимофея, неотрывно смотрел на приближающуюся стену леса, все смелее и смелее тянул на себя ручку газа, чтобы взмыть над этим лесом, над низким еще солнцем, шептал спекшими-ся губами:

— Ну, давай, миленький, давай... Подымайся туда, в небо... Подымайся, а то втешемся в сосны...

Он уже ясно различал деревья. В ясном осеннем воздухе, осветленные солнцем, мягко розовели стволы сосен, а хвоя их была темна и плотна. Между ними желтели березы и кое-где застывшим дымом серели осины, будто подернутые пылью — увядающие. Все это надвигалось на Василия, а машина, будто привязанная к земле невидимыми путами, не хотела подниматься.

Василий уже различал отдельные лапы сосен, видел каждый березовый листок, обострившимся зрением воспринимал уже каждую хвоинку в отдельности.

«Так и правда втешемся», — понял он и с отчаянием рванул до отказа ручку газа, надеясь, что мотор все же порвет невидимые пути, бросит машину вверх, в голубую, близкую бездну неба. Но подступавшая зеленая стена не проваливалась вниз, она заслоняла собой все небо. И вдруг, холодея, Василий услышал жуткий, необычный треск над головой. Обгоняя машину, что-то сверкающее на огромной скорости пролетело к деревьям, ударилось в ветви, ломая их и срезая, и машину тотчас трянуло с такой силой, что Василий лбом врезался в стекло и почувствовал, как он проваливается вниз. Он еще слышал треск древесины, сухие хлопья лопающейся материи, скрежет чего-то металлического, а потом все это куда-то ушло...

С трудом Василий выполз из-под обломков своей машины. Неуверенно, будто впервые в жизни, поднялся на ноги, постоял, качаясь, но колени не держали, и он привалился спиной к шершавому стволу сосны с израненными сверху ветвями. В глазах мельтешило красное зарево, мешало видеть. Он хотел протереть глаза, но правая рука не поднялась и занула, когда двинул ею. Протер глаза левой рукой и увидел на ладони кровь. Кровь его не удивила, будто была она совсем не его, чужая.

На вершине сосны шелестело что-то живое.

Он запрокинул голову, глядел, как на сломанной ветви мостилась сорока, как косила вниз пугливым быстрым глазом.

— Не видела такого чуда? Гляди сколь влезет. Не убавится, — прохрипел Василий и опустил голову.

Под ногами лежало отломленное колесо. Василий повел глазами дальше и увидел свой искореженный вертолет. Вырванный ударом мотор валялся рядом со щепками от винта. Был он еще жив: в нем что-то всхлипывало и постанывало. Сверкающими блестками лежали в мятой траве осколки оргстекла, на них было больно глядеть. На оторванной дверце, оторщенной далеко от машины, висел на одном шурупе оконный шпингалет, которым Василий запирался в кабине. В лице Василия что-то дрогнуло.

Он поглядел на все это, разбитое, исковерканное, так заботливо и старательно некогда им добытое, и вдруг почувствовал не боль и отчаяние, а облегчение. Пнул ногой колесо с отломленной осью,

которое откатилось и упало в траву, глянул еще на нелепо выглядевший тут шпингалет и вдруг захохотал.

Сорока дернулась на ветви, испуганно улетела, отчаянно взмахивая крыльями, и это еще больше насмешило Василия. Он захохотал уже во все горло, и эхо понесло по лесу его смех. Смеялся долго, до слез, изумляясь, что никогда раньше так весело и щедро не смеялся. И так ему было легко, так хорошо...

Подбежал Тимофей, остановился, раскрыв от неожиданности шербатый рот, запаленно переводил дух.

Смешно было смотреть Василию на обломки машины, на изумленного и испуганного Тимофея, и он хохотал, хохотал, едва удерживаясь на ногах, пока не закололо в груди.

— Что, Тимофей, — спросил хриплым голосом, — думаешь, я тронулся? Нет, Тимофей, нет. Не-ет...

И медленно пошел в село.

На краю поля его встретила Варя и увела в дом.

Больничным лист Атясову хоть и выдали, но леспромхоз оплачивать его отказался: травма не производственная и вообще глупая.

— Ничего, — заботливо утешала его Варя и осторожно трогала гипс на сломанной руке. — Переживем, Вася. Вот рука подживет, и мы свое наверстаем. Правда ведь?

— Правда, — согласно качал головой Василий. — Наверстаем. — И виновато говорил: — Руки у меня зудятся без работы. Скорее бы уж.

И снова ладно стало в доме Атясовых, тихо стало и уютно. Варя ни в чем мужа не укоряла, будто ничего и не случилось. Иногда только спрашивала задумчиво:

— Так что же, Вася, с тобой было-то? Ведь это надо ума решиться — вертолет строить. Понять не могу.

Отвечал неохотно:

— Не знаю... Накатилось...

Когда жена была на работе, а Сережка в школе, Василий, не вынося безделья, уходил за село, глядел на еще больше потемневшую на фоне желтого поля зубчатую стену леса, похожую на перевернутую вверх зубьями пилу.

Удивлялся: в прошлые годы зима приходила быстро и оседала плотно, а тут что-то сдвинулось в привычном течении сезонов.

И на самом деле необычное творилось в природе. Давно ушел тихий, золоченый сентябрь, уже последние дни октября закатывались, а на бурую полеглую траву, прихваченную первым зазимком, никак не ложился снег. Березы и осины стояли давно голые, с остатками вялых листьев на верхушках, будто пристыженные они были перед соснами, ни зеленью, ни снегом не прикрытые.

Небо было серое, низкое, теплое. Ворочались день и ночь на нем тучи, уже

не летние, но и не зимние, не поймешь какие. Иногда проливались они коротким ночным дождем, и утром ветер снова все иссушал. Изредка ветер пригонял заплутавшую снеговую тучу. Мелкий колючий снег косо падал вниз и таял — теплая земля не принимала его. Но иногда небо вскрывалось полыньюми такой ноожиданно близкой голубизны, что сердце заходило непонятно отчего.

Вот такая стояла осень...

Петр Антонович Бородкин родился в 1918 году, в Барнауле. Окончил педагогический институт. Участник Великой Отечественной войны. Долгие годы занимается изучением истории края. Работает заведующим архивным отделом крайисполкома.

Автор исторических рассказов о Барнауле, часть которых опубликована в его книге «У истоков», повести «Тайны Змеиной горы» и других произведений.

Член Союза писателей СССР.

Петр БОРОДКИН

ИЗ ЦИКЛА «ИСТОРИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ О БАРНАУЛЕ»

ФЕДОР ГЕБЛЕР

Главный командир канцелярии Кольвано-Воскресенского горного начальства Элерс ждал медика, назначенного несколько месяцев назад кабинетом его величества в Барнаульский заводской госпиталь.

Элерс извлек из пухлой папки указ царского кабинета, приложенные к нему контракт и формуляр или послужной список медика. Не успел прочесть и несколько строк, как дверь открылась и в кабинет вошел сравнительно молодой человек, скромной и опрятной внешности.

— Имею честь представиться, ваше превосходительство, доктор медицины и хирургии Фридрих Вильгельм Геблер.

— Доктор, говорите?

Брови Элерса прыгнули, как-то необычно круто выпирая вверх.

— Что ж, очень приятно-с! Скажу откровенно, в этакой глуши доктор — невероятная редкость. Извольте присесть.

Год назад доктор Геблер изъявил желание поступить в российскую службу. И не однажды ему пришлось испытать на себе недоверие, исходившее от влиятельных особ российской знати, представителей властей самых высоких инстанций. Молод он был, молодой да ранний — в двадцать лет стал доктором. В Петербурге, прежде чем принять доктора на службу, устроили ему придиричивый экзамен в медико-хирургической академии. Геблер блестяще подтвердил

ученую степень доктора и отправился в далекий путь на Алтай. Холодный тон Элерса не удивил и не обескуражил доктора.

Элерс быстро пробежал глазами бумаги:

«...саксонской нации... родился в городе Цейленроде 15 декабря 1782 года, в семье юриста. Учился в лицее, затем в Йенском университете. Там же 24 сентября 1802 года защитил диссертацию на доктора...»

Дочитав, глянул на доктора потеплевшим взглядом:

— Ваш приезд, доктор, кстати. Во всей местной округе — ни одного ученого медика. Ваши обширные познания необходимы не только для врачевания больных. В Барнауле строится новый каменный госпиталь. И здесь без вашей помощи не обойтись...

Доктор, назначенный на должность управляющего медицинской и фармацевтической частью Кольвано-Воскресенских заводов и рудников, быстро прижился на новом месте. Всех поражала его пунктуальность, исполнительность и, самое главное, широкий круг интересов и неутомимость, с которой он вершил служебные и частные дела.

Как-то округу постигло страшное бедствие — вспышка холеры. Черный хвостатый след оставяла за собой болезнь. Случилось бы куда хуже, не окажись

доктора Геблера. Он бесстрашно бросался туда, где сильнее всего свирепствовала болезнь. Обеспокоенное горное начальство попыталось унять чрезмерное рвение старшего медика.

— Поберегли бы себя, доктор. Болезнь относится ко всем одинаково...

Он же и слушать не хотел, отмахивался и с еще большей настойчивостью продолжал свое. Однажды доктор сам занедужил и оказался в изоляторе.

— Пустите меня! Ломота в теле, тошнота не от холеры у меня!

Подчиненные коллеги оказались неговорчивыми. Тогда доктор, воспользовавшись моментом, прибежал к самому главному командиру. Сдерживая стук зубов и тряску в теле, пояснил:

— Лихорадка у меня, ваше превосходительство. Суший пустяк против холеры.

Методы лечения и профилактики, разработанные доктором, остановили разгул холеры. Ему одновременно высказали свое одобрение две высокие инстанции: Российский медицинский совет — за присланное описание болезни и методов ее лечения и местное горное начальство — «за его усердие к общей пользе».

Да, доктор был безупречен в службе и не терпел наплевательского отношения к ней по натуре своей. Его квартира была забита книгами, добрая половина из которых была по энтомологии, ботанике, геологии и другим естественным наукам. Никто, конечно, не знал, что длинными зимними ночами доктор, такой пунктуальный и внешне строгий, отдавал дань своей давнишней страсти, овладевшей им еще с лицейской скамьи, — изучению неразгаданных тайн природы.

В летнее время доктор не засиживался в Барнауле. Почти безвыездно находился на рудниках и заводах округа. Обучал своих подчиненных, лечил особо тяжело больных.

Как-то по неотложным хозяйственным нуждам съехалось в Барнаул рудничное и заводское начальство почти со всей округи. Сначала вроде бы случайно заговорили о докторе, не придавая этому значения, потом разговоры перешли в колкие и насмешливые пересуды.

— В свободное от службы время доктора на руднике с самым смоляным факелом не сыщешь. По лесам да лугам прячется.

— Куда бы ни шло такое, господа!

Ведь, как мальчишка, с сачком в руках за стрекозами, бабочками да разными козявками гоняется...

— А я, господа, сам видел, как доктор какие-то корешки из земли выкапывал, на зуб пробовал и в сумку прятал. Чудак, ей-богу, чудак!

Однажды барнаульский купец миллионер Пуртов заявил, что он проверит этого пришедшего доктора — чудак он или притворяется таковым. А как проверить, он изыщет способ — купец любил потешные выдумки и розыгрыши. И те, кто знал близко Пуртова, побаивались этих его розыгрышей, порой жестоких и немилосердных.

И вот однажды вечером на квартиру Геблера явился слуга Пуртова, мужик богатырского сложения, и вручил доктору берестяное ведро, плотно закрытое.

— Что это? — спросил доктор.

— Подарок от хозяина моего, купца первой гильдии господина Пуртова, — с достоинством ответил мужик.

Доктор с удивлением и недоверием смотрел на ведро.

— В честь чего же такая щедрость?

— Мне неизвестно.

— Тогда, может, скажете, что в ведре?

— Извольте сами посмотреть.

Доктор приоткрыл крышку, и тотчас комнату наполнило ползающее, летающее, прыгающее насекомое царство. Разобравшись, в чем дело, доктор громко хохотал, восторгу его не было предела. Он бегал по комнате, как мальчишка, размахивая руками, ввергая своей шумной и непонятной радостью гостя в бесконечное изумление.

— Подумать только, — восклицал он, — величайшая редкость! Об этом виде жуков всего лишь упомянул в своих путевых записках знаменитый академик Паллас, колесивший по Алтаю в прошлом веке. А вы их целое ведро... Я обязательно дам описание этого вида! Нет, вы посмотрите, это же семейство жукелиц! А это долгоносик. Какая прелесть! Знаете ли вы, что в этом ведерке для меня таится настоящее богатство! Передайте господину Пуртову, что премного ему благодарен за прекраснейшую коллекцию насекомых!

Ошарашенный мужик ушел, а вскоре сам Пуртов в разговоре с горными чинами хвастался:

— Снарядил я целую ораву людей в

самую глухмень, за Барнаулку, наказал всякой насекомой твари ведро наловить и преподнести доктору вроде бы в подарок. А он и принял как подарок. Нет, господа хорошие, не чудачком оказался доктор. А ежели и чудак — так великий. Помяните мои слова — великий. Вот так-то!

Вскоре Элерса на посту главного командира канцелярии сменил Петр Козьмич Фролов, сын знаменитого русского гидротехника-первоизобретателя.

Просвещенный администратор основал немало культурных учреждений, в том числе Барнаульский музей. Доктор оказался прочнейшей опорой во многих начинаниях Фролова. Его ботанические и энтомологические коллекции, украшали выставочные залы музея. Одна из витрин даже заключала инициалы доктора в виде вензеля, составленного из насекомых.

Постепенно насмешки над научными увлечениями доктора сменились уважением, а иногда и завистью. Но Геблер как бы и не замечал этого, он был занят своим делом, шагал своим путем. Три лета он отдал изучению горы Белухи и примыкавших к ней Катунских глетчеров. Описал самые потаенные ледяные застрехи, куда редко ступала нога самого смелого охотника. Российская академия наук отменила интересное исследование так называемой демидовской премией. Вновь исследованные глетчеры получили название ледника Геблера. Доктор становился признанным, авторитетным ученым, членом многих отечественных и зарубежных научных обществ и учреждений. Сам он несказанно гордился, что состоял членом-корреспондентом Российской академии наук.

Недоброжелатели и завистники при встрече с доктором открыто льстили. Имя и отчество называли только по русски — Федор Васильевич, — знали, что это очень нравилось доктору.

Все русское с первого же дня приезда на Алтай сразу как-то притянуло Геблера неизведанностью и своеобразием. Он с одинаковой жадностью изучал русский язык, обычаи, народные обряды, историю. И сибирский край все больше входил в его душу, становился как бы второй родиной.

Однажды Барнаул посетил видный немецкий ученый-естествоиспытатель Александр Гумбольдт. Здесь он пробыл

всего несколько июльских дней. Кратковременное общение с известным ученым, соотечественником прошло для доктора с большой пользой.

Гумбольдт, любознательный и участливый собеседник, засыпал доктора вопросами, касавшимися Алтая. И был в восторге от своего собеседника, дававшего глубоко обоснованные и исчерпывающие ответы.

— Уму непостижимо, Фридрих Вильгельмович, как вы умеете успешно сочетать серьезную службу с широким научным поиском. Вы, видимо, тот кудесник, которому доступно удваивать количество часов в сутках? Иначе где брать время!..

В день отъезда из Барнаула Гумбольдт был немного рассеян и грустен, менее обычного словоохотлив. О причине такого настроения открыто сказал сам:

— Признаться, Фридрих Вильгельмович, я с сожалением расстаюсь с вами. За короткий срок я имел удовольствие сблизиться с вами, как это иногда не удается и за многие годы. Я просто восхищен вами. — И чуточку помедлив, колебавшись, Гумбольдт спросил: — Фридрих Вильгельмович, простите за навязчивость, но мне интересно: надолго ли думаете еще остаться здесь, на Алтае?

— Навсегда.

— А родина?

— Родина тоже здесь. Я женился на местной девушке Саше Зубаревой. Лучшего друга и помощника я не желал бы иметь.

— Как же, как же, Александра Степановна, должен засвидетельствовать, прекрасной души человек, женщина с хорошими манерами, — горячо воскликнул Гумбольдт.

— Дети наши родились здесь, в Барнауле, любят город и окрестности. Сам не могу представить ничего интереснее здешних мест в научном и эстетическом отношении. И самое главное — по душе мне пришелся русский народ, удивительно выносливый во всем, внешне такой спокойный, с неизмеримой душевной отзывчивостью и мягкостью. За большую честь почитаю служить такому народу. Сообщу вам, что я вступил в ходатайство о переходе в русское подданство.

...Тройка добрых лошадей подкатила к крыльцу канцелярии. Гумбольдт торопливо засобирался.

— Мне пора. Да, да! Низкий поклон Александре Степановне за ее гостеприимство. И прощайте. — Они обнялись дружески, сознавая, что, возможно, уже более никогда не свидятся.

— Спасибо вам, Фридрих Вильгельмович, за все. Не забуду никогда вашего участия и доброты... и родину вашу всегда буду помнить.

Коллекции насекомых, гербарии, с таким трудом собранные на Алтае, Геблер совершенно бескорыстно жертвовал университетам, научным учреждениям. С каждым годом росла популярность Геблера. Доктору давно перевалило за шестьдесят. Позади остались глубокие семейные потрясения — смерть многих детей. Особо доктор пережил потерю старшего сына Георгия, студента Петербургской медико-хирургической академии, которому профессора предсказывали блестящее будущее в медицине. Тяжелым ударом была смерть единственной и любимой дочери Юлии в самом цветущем возрасте.

Годы, испытания жизни не лишили доктора страсти к научному поиску, коллекционированию. В это лето он готовил подарок Иенскому университету.

Множество коробок с коллекциями и гербариями доктор любовно нумеровал, тщательно укладывал. К концу лета посылка была готова к отправке, как вдруг доктор вспомнил про небольшой университетский ботанический сад. «Посылка будет неполноценной без корешков диких алтайских пионов», — подумал он. И представил себе весенние склоны Присалаирья, оранжево-фиолетовое пламя цветущих пионов. Геблеру хотелось, чтобы сибирские пионы расцвели в университетском саду.

Стояла та пора осени, когда серебряные утренняя сменяют ясные и солнечные дни. В понижем травостое проглядывали первые пятна и полосы бурой ржавчины. По зарослям березняка, калины, рябины расплескались ярко-желтые, кроваво-красные сполохи.

«Чудесная, умиротворяющая душа человека, — но грустная пора, — думал доктор. — Природа как бы благоговейно перед концом своего очередного увядания. Мягкие, грустные краски на травах и деревьях все равно что седина в волосах человека...»

Вот и знакомые склоны. На пути к ним клюквенные болота, которые, бывало, доктор не однажды пересекал. Под ногами тонко вызванивала хрупкая ледяная корочка, сочно чавкала болотная топь. Доктор шел с длинной березовой палкой наперевес. Время от времени приходилось останавливаться, чтобы не сбиться с правильной дороги. Тогда под ногами выступала, звонко пузырилась вода, быстро доходила до колен. Почти на самой середине болота Геблер вдруг ощутил, как ноги теряют опору, тело стремительно проваливается в бездонную глубину. Березовая палка, брошенная поперек ловушки, замаскированной природой, упруго и круто выгнулась. Доктор попытался работать ногами, чтобы уменьшить нагрузку на палку, но с ужасом ощутил, что их словно спутывает что-то невидимое, сильное. Тяжелела намокшая одежда, спасительница палка могла переломиться. «Тогда неизбежный и бесславный конец». Отчаянным усилием доктор перехватил руками за толстый конец палки и стал осторожно выползать на трясины. Больше часа шла борьба за жизнь. И доктор победил болото. Измазанный илом, промокший до нитки в холодной воде, он выбрался на сухое место и потерял сознание. Проезжавшие рудовозы подняли доктора, тепло укутали и привезли на Салаирский рудник.

Несколько недель в простудном бреду метался доктор. Когда болезнь едва отступила и пришло ясное сознание, доктор попросил отставку. В письмах к друзьям он признавался, что жить ему осталось недолго. Он-то, Геблер, ученый медик, точнее, чем кто-либо, знал возможности своего организма. И действительно, не прошло года после отставки, как Федор Васильевич Геблер скончался.

Его хоронил весь тогдашний Барнаул. Вторая родина отдавала последние почести своему приемному сыну, который завоевал эту любовь великим трудом на благо ее процветания.

Два гроба, поднятые высоко над головами колышущейся огромной человеческой массы, как бы сами по себе плыли в чистом осеннем воздухе — вместе с Геблером хоронили и его верную, казалась, и в смерти не оставившую жену Александру Степановну Зубареву-Геблер, которая пережила мужа всего лишь на один день...

ДОБРЫЙ ДОКТОР

Барнаульский городской голова Поляков позвонил колокольчиком и раздраженно сказал вошедшему в кабинет раскисшему:

— Разыщите доктора Смирнова.

Перед этим городскому голове принесли почту. Не глядя он вскрыл первый попавший под руку конверт. Лист тяжелой лощеной бумаги привлек внимание строками безукоризненно строгой и красивой машинописи фиолетового цвета. В левом верхнем углу бумаги красовался штамп Томского губернского управления. Внизу — невыразительная, но хорошо знакомая и бросающаяся в трепет подпись губернатора барона Нолькена.

Поляков тотчас оказался в полной власти бумаги, прочитанной единым взглядом. Дальнейшее рассмотрение почты, занятие, столь обычное для утренних часов, отодвинулось на неопределенное время. Надо было немедленно поговорить с доктором Смирновым.

Поляков ходил по кабинету, нетерпеливо поглядывая на дверь. Доктор Смирнов, заведующий городской больницей, не заставил себя долго ждать. Городской голова ласково его встретил, поговорил о том о сем, а потом задал прямой вопрос: — Ну, Александр Иванович, как продвигается строительство городской больницы?

Доктор Смирнов удивился. Ведь совсем недавно Барнаульская городская дума избрала комиссию содействия строительству больницы. Через нее городской голова буквально знал, когда, в какую стену и сколько заколочено гвоздей.

— Строительство, можно сказать, закончено. На будущей неделе намечаем перевод персонала и больных в новые помещения. Старые считаю целесообразным использовать под баню с прачечной и инфекционное отделение.

— Хорошо, — одобрительно кивнул Поляков. — Очень хорошо, Александр Иванович, потрудились. Поденщик под самым строгим присмотром не угнался бы за вами! Извините за столь неуместное сравнение. Но истинно вашими неумными хлопотами и стараниями построена больница. Это достойно самых высоких похвал.

Доктор, привыкший к скромности, как мог, оградил себя от дальнейших восторженных.

— Что вы, Иван Иванович, новая больница — не моя единоличная заслуга перед городом...

И голова опять-таки внезапно, под прямым углом изменил направление в разговоре. В его вкрадчивом голосе смешались любопытство и еле заметное раздражение.

— Скажите, Александр Иванович, откуда в ваших поступках берут начало чрезмерная предупредительность, близкое участие в судьбах людей, не всегда заслуживающих того?

Доктор часто заморгал глазами, будто в них попало что-то, запорожские усы, предмет неустанной его заботы, зашевелились, как на ветру.

— Как вам сказать... Во-первых, вопрос частный, выходит за рамки службы. Во-вторых, я не совсем понимаю, о чем вы спрашиваете.

— Извольте, поясню. Не так давно служителю городской больницы Бронникову безвозмездно выдано пятьдесят рублей. Было такое?

— Но ведь речь шла о жизни или смерти человека, — горячо возразил доктор.

— Не спорю. Бронников порезал палец при вскрытии человека, умершего от бешенства. Для поездки в Томск, чтобы принять пастеровские прививки, Бронникову хватило бы половины той суммы, которую вы субсидировали. Раз. Вдове фельдшера городской больницы Марфе Дмитриевне Мокроносовой выдано пособие двадцать пять рублей. Два. С одной стороны, это похвально, отчего ж не помочь нуждающемуся. У городской думы, к сожалению, бюджет весьма и весьма скромный, и все же, когда на ребро становится собственная и последняя копейка... Извините, Александр Иванович, такое недоступно моим понятиям.

Доктор молчал. Городской голова вторгся в сферу, одно напоминание о которой удручающе подействовало на собеседника. Несколько лет подряд доктор Смирнов на свои средства строил на Бийской улице первый родильный дом в Барнауле. Активной и горячей помощни-

цей была жена доктора Мария Абрамовна, фельдшерница и акушерка по профессии. При малом заработке супруги влезли в страшные долги. Для их погашения потребовалось бы лет десять—пятнадцать.

Городской голова принялся безжалостно и до конца прояснять свой намек.

— Городская дума отказала в выдаче пятнадцати рублей для устройства тележки больному Устюжанину, которому ампутировали обе ноги и одну руку. И что же? Тогда отозвался доктор Смирнов! Такой жест благотворительности в вашем положении, извините меня... Я, как вам известно, милейший Александр Иванович, купец первой гильдии, в состоянии построить пять—десять больниц, несколько храмов да столько же школ... Но сорить деньгами — не в моих правилах. Деньги любят счет. А когда их нет, нечего и считать, — засмеялся он удачной шутке.

Доктор даже не улыбнулся, холодно сказал:

— Извините, мы люди разных взглядов на жизнь. Я не гимназист, которому толкуют понятия о добре и зле.

— Не обессудьте за откровенность, Александр Иванович. Прошу присесть. Чуждачество ваших поступков куда ни шло, но вот это...

Поляков взял со стола бумагу и потряс ею в воздухе.

— Содержание этого документа, торжественно, даже как-то с пафосом произнес голова, — не допускает никаких компромиссов. Да, к сожалению, никаких. Губернские власти предписывают немедленно отстранить вас от казенной службы-с. И тут вам аргументы. Вот, пожалуйста. Как явствует из документа, вы давали приют одному фельдшеру с женой, лицам политически неблагонадежным. Сожалею, от души сожалею, что городское самоуправление лишается столь опытного и энергичного медика, но, посудите сами, каково мое положение.

Доктор согласился, сказал с иронией:

— Действительно, ваше положение безнадежное. И я готов вам помочь — оставить место вакантным.

Доктору вспомнилось лучшее в его жизни время, когда он начинал врачебную практику в селе Шушенском. Здесь встретился он с Марией Абрамовной, молодой фельдшерницей, и вскоре они поженились. Венчаться ездили в Абакан.

Свадьба была скромной. Однако счастье супругов от того нисколько не поблекло. Жизнь была наполненной, интересной. Частенько проводили время в кругу политических ссыльных, несколько раз доводилось Александру Ивановичу встретиться и беседовать с Владимиром Ульяновым, его женой Надеждой Крупской. Правда, эти встречи были мимолетными и не заложили основ для близкого знакомства. Но добрая память осталась об этом стремительном, энергичном, временами слишком даже напористом в разговорах человеке, помнил он этого человека необыкновенно простым, веселым, умевшим заразительно смеяться и хорошо играть в шахматы, что тоже по-своему подкупало.

Лишь в тридцать два года Александр Смирнов закончил Томский университет. Его отношение к людям в Шушенском формировалось не под влиянием юношеского романтизма. Добрая и честная душа доктора интуитивно угадывала честных же людей, подсознательно, но жадно тянулась к ним.

Сейчас, когда речь шла о его судьбе, Смирнов чувствовал себя совершенно спокойным, потому что верил в конечную правду своего дела. И потому голос его был в меру спокоен и в меру ироничен:

— Не сокрушайтесь, Иван Иванович, на мое место сыщется другой человек. Свято место пусто не бывает. Не погибну и я, найду применение своим силам и знаниям. Прощайте.

Мария Абрамовна встретила мужа с удивлением и беспокойством.

— Что случилось, Саша? Вид у тебя какой-то... Нездоровится?

— Ничего, ничего. В шахматы сыграть бы партию... — Вспомнив, что единственный «противник», живший по соседству реалист, еще на занятиях в училище, Александр Иванович с сожалением добавил: — Да не с кем вот сыграть.

Мария Абрамовна знала, что муж ее всегда рассеивал неприятность игрой в шахматы. И играл тогда на удивление тонко и изобретательно. Она поняла — что-то случилось.

— Неприятность, Саша?

— А, пустяки. Обойдусь без шахмат. Всего-навсего, Машенька, меня уволили со службы.

Через малое время, 12 ноября 1907 года, Барнаульская городская дума назна-

чила нового заведующего городской больницей — врача Нила Михайловича Руднева.

И вот, наконец, на Бийской улице вырос двухэтажный деревянный дом. Многого не хватало — оборудования, мебели, надлежащего комфорта, и приходилось мириться до лучших времен. Но главное, в городе появился и жил своей необыкновенной, прекрасной жизнью, первый родильный дом. Там душой всему была Мария Абрамовна. Не прекращал своей докторской практики и Александр Иванович. В коридоре к его кабинету всегда была очередь. Толкалось тут больше простого люду. Разговаривали вполголоса.

— Дохтур Ляксандра Иваныч, дай бог ему каменного здоровья, вроде веревкой вытащил мою бабу из могилы. Грудь разламывало, колотье, одышка, целый час и так и этак осматривал дохтур мою бабу. Заключение сделал, лекарства прописал — теперь не жалуется. А ить сколь мучилась баба, бога молила — исцели, господи... А исцелил дохтур. Вот и посуди-ко, паря, какая у него сила в руках.

— В уме сила, — возразил другой.

Первый тихо продолжал:

— Дак ведь ты пойми, зачем я-то пришел... На здоровье, слава богу, не жалуясь. Отказался дохтур от платы. У тебя, говорит бабе, шестеро ребят, один другого меньше, а ты с платой пристаешь... Видал?

Тут из кабинета вышел больной, и говорливый мужик проворно юркнул в дверь, еще не успевшую закрыться. Через минуту-другую возвратился с досадой на лице.

— Опять не взял? — спросили его сочувственно. Расстроенный мужик только рукой махнул, поднял с пола вместительную кошелку из ивовых прутьев, сверху плотно затянутую холстиной. От толчка в кошелке послышалось мелкое и сдержанное гусиное бормотание. Мужик двинулся к выходу, остановился и сокрушенно покачал головой:

— Как домой показаться? Ей-богу, баба не поверит, что не взял! Сама гусей выхаживала... Скажет, пожалел. А мне рази жаль для дохтура, да я для него...

Со временем и по городу поползли слухи о том, что доктор Смирнов не

спрашивает платы с больных. Но это было не совсем так. От платы он не отказывался, если видел, что пациент имущий, а то и богатый, хотя и в этом случае плату никогда не назначал. Иной заплатит полтинник или меньше, доктор вежливо поблагодарит. Ничего не даст — промолчит, но и в следующий раз в приеме не откажет. Станный человек, говорили о нем. А для него важно было другое — практика увлекла, захватила Александра Ивановича, после амбулаторного приема он метался по всему городу, часто глубокой ночью шел пешком на вызов больного.

Мария Абрамовна иногда говорила:

— Саша, отдохнул бы малость, нельзя же так.

— Успеется, Маша. Людям нужна моя помощь. Вырастут сыновья, нас заменят. Тогда лишнюю партию в шахматы сгонять, на диване с книгой поваляться не грех!

Сыновей в то время у Смирновых было трое: старший, Володя, — восьми лет, Сережа — трех и Боря — полуторагодовалый. Сыновья!

— Ты прав, Саша, смена будет.

А вскоре в семье Смирновых появился четвертый сын, Костя, и приемная дочь Зоя. Семья пополнилась, прибавилось забот, не убавилось и на работе забот. Авторитет и популярность доктора Смирнова росли с каждым днем. И вот на одном из заседаний городской думы отмечалось снижение притока больных в городскую больницу. Чиновник Лесневский, сменивший на посту городского головы купца Полякова, пытался увести этот вопрос в сторону:

— Нет больных, так это ж отрадное явление.

Доктор Руднев с иронией и горечью возразил:

— Больных много. Но они идут к доктору Смирнову, а не к нам.

Поздним вечером в коридоре раздавался звонок. Александр Иванович открыл дверь. Перед ним стояла женщина, сгорбленная и понурая. В ее глазах мольба и надежда.

— Доктор, спасите ребенка. Умирает.

— Где же он?

— Дома. Это по правую сторону Барнаулки. За Сенным базаром, на улице

Подгорной, там еще рядом Знаменская приходская школа.

— Лошадь есть?

— Нету, — упавшим голосом ответила женщина.

— Что с ребенком?

— Откуда знать. Рвота, измучился весь, под глазами чернота.

— Ну вот что, не теряйте попусту времени, идите, а я догоню вас не дальше, как на пороге вашего дома.

Доктора встретил знакомый маляр Брагин, оказывается, это его жена приходила. Обычно остро слов и шутник, Брагин говорил виновато и растерянно:

— Побеспокоили вас, Александр Иванович, в неурочное время, извините. С мальчонкой вот что-то приключилось... Четыре годика ему, восьмой он у нас, а жалко все равно. Помогите.

Доктор осмотрел мальчика.

— Рыбы головки ел, так уж он их любит.

Оказалось, что рыба была заморожена уже не в свежем виде.

Мальчик оказался не по годам послушным. Пил воды столько, сколько ему приказывали. После многократной рвоты наступило облегчение. Мальчик смотрел на доктора уже повеселевшими и любознательными глазами.

— Молодец, — похвалил доктор. — Вот тебе подарок от меня. — И вполголоса родителям:

— Болеутоляющее. Мальчика укройте потеплее. Завтра будет здоровее, чем был.

Брагин несмело посунулся к двери, загородил выход.

— Спасибо, Александр Иванович! Не приди вы, помер бы мальчонка. Уж пожалуйста, не погнушайтесь, от всего сердца это, возьмите, — и протянул серебряный полтинник.

— Спрячь, — сказал Смирнов. — Сочтемся потом. Без твоей помощи разве б мы сумели привести в порядок свое заведение. А ты почти бесплатно работал... А?

Брагин не сдавался.

— Вы меня рассчитывали полтинниками, заработанными собственным трудом. А больница для всех нас, общая, как же я не мог стараться?

Но Смирнов так и не взял деньги, решительно отказался.

— Рядиться не будем. Обещай мне, Павел Андреевич, что завтра на этот

полтинник купишь гостинцев детям. До свидания.

Доктор шел домой в приподнятом настроении. Под ногами поскрипывал снежок. Лунное звездное небо, тишина располагали к добрым размышлениям. Вот и плотинный мост. С заводского пруда тянул обжигающий холодом ветерок. Слышно было, как в здании бывшего се реброплавильного завода повизгивали, вгрызаясь в бревна, механические прили. И вдруг трое мужчин заступили дорогу. Тот, который был поближе к доктору, тихо сказал:

— Раздевайся!

— Извольте. Только попрошу что-нибудь взамен.

Доктор шагнул вперед, уличный фонарь осветил его лицо, и грабитель вдруг попятился, ступешался.

— Нет, нет, не надо. На улице мороз... Простудитесь. Простите, доктор, ради бога... Ребята, это же доктор Смирнов...

Произошла заминка. Потом все тот же, видно зачинщик, твердо сказал:

— Доведем до дому. Шуба у вас стоящая, ентовая. Не ровен час — повстречает кто другой. Простите, доктор, поначалу не узнали вас.

Шли, как старые знакомые, с неприужденными разговорами, не чувствуя чуждости после происшедшего.

— Скажите, доктор, скоро перестанут жарить морозы? Прямо как скаженные лютуют.

— Не дальше, как через неделю, — ответил Александр Иванович. — Видите поблекшую луну? Это признак близкого потепления.

На Пушкинской улице повстречался конный полицейский патруль. Спутники доктора в нерешительности замедлили шаги, но все обошлось благополучно.

— Или раздумали провожать? — улыбнулся Александр Иванович.

— Не-е. Испужались не на шутку. Ить мы грабители-то не настоящие. Двадцать рублей надо. Долг купцам Шадриным уплатить, чтоб с квартиры не сгоняли в морозы. У нас ребятенки малые. Сезонники мы, штукатуры, печники. Заработка зимой ни гроша. Вот и подумали: выдашь аль пожалеешь?

Потом доктор, когда подошли к дому, настойчиво уговаривал своих спутников зайти к нему в гости.

— Чаю поьем. Не густо с деньгами

у меня, но помогу. Когда-нибудь печь перекладете или что другое сделаете.

— Спасибо, доктор! Мы и так в неплатном долгу у вас. Да и неудобно после такого случая...

На другой день весь город только и твердил, что накануне, где-то в одиннадцать часов ночи, на Демидовской площади произошло странное ограбление: трое неизвестных напали на управляющего Русско-азиатским банком. При нем была крупная сумма денег. Грабители же отобрали всего двадцать рублей...

«Это уже после встречи со мной, — подумал доктор. Вот и рассчитаются мужики с купцами Шадринскими. Рассчитаются, а что дальше? А дальше — новые долги? Нет, нет, это не выход».

После революции доктор Смирнов с новой энергией взялся за дело и много сил отдал развитию здравоохранения города. На улице Никитинской, бывшей Бийской, и по сей день стоит двухэтажный деревянный особняк с вывеской «Родильный дом № 3». Около него часто останавливаются и старые, побеленные сединой люди, и совсем молодые парни и девушки, дети. Здесь, в этом доме, началась их жизнь. И те, что постарше, нередко с гордостью говорят:

— Еще при докторе Смирнове.

Вечером окна старого дома ярко светятся, и кажется, за одним из них видна фигура склонившегося над столом Александра Ивановича Смирнова, доброго доктора, вечного труженика, отдавшего свою жизнь всю без остатка людям.

Иван ОЛИФЕРОВСКИЙ

УЙМОНСКИЕ ПОРТРЕТЫ

ОЧЕРК

1. ВАСИЛИЙ ИЗ КУДРЯВЦЕВЫХ

В селах Уймонской долины что ни дом, то — Кудрявцевы, Казанцевы, Бухтуевы...

Я хочу рассказать о Василии Климентьевиче Кудрявцеве из Башталы. В этом небольшом селе, которое взбегает вместе с речкой вверх, к одному из распадков Теректинского хребта, в 1929 году был организован первый в долине колхоз имени Эйхе, а теперь — отделение ордена Трудового Красного Знамени совхоза «Коксинский». Живут здесь голубоглазые, русоволосые, широкоскулые дети бывших партизан и зачинателей социалистического хозяйства. Да и сами ветераны еще не прячутся на печках — то, глядишь, придут на ферму, то появятся у конторы утречком, когда самая пора мимолетних живых разговоров о делах.

Василия в этот день в селе уже не было.

— Выхал пробивать дорогу на белки, — сказали в конторе.

Пересекая ручьи — ответвления от речки Башталы, которые петляли по огородам и переулкам, я шел все выше к распадку. И речка начинала больше подавать свой голос.

Переменчивым гудящим шумом она падала по камням, а далеко вверх протягивалась белыми пятнышками, похожими на снег, — это белели ее водопады.

Спину калило иронское солнце, а навстречу из распадка шла сильная струя чистого воздуха с запахом снега. По склону и по речке вольно бродили телята, один из них стоял на камнях, среди потока, лениво жевал серебристые листья ветлы, хотя рядом зеленела трава с желтыми россыпями куроплепа...

Я остановился и оглянулся.

Баштала белела крышами вниз. По всей долине набирали силу посевы, а по восточной ее стороне в солнечном блике катилась Катунь. Благородный край! Хорошо здесь жить в наши дни. Природа дала ему чистые, сильные реки. Летом на горных елянях и в долинах здесь поспевают клубника со своим особенным «горным» вкусом.

Ее можно собирать втрам. С черемухой местные хозяйки пекут пироги. А ревень? Из него готовят повидло и варенье. Над глухими ручьями до осени стоят нетронутыми заросли крупной черной смородины. А в момент налива кедрового ореха вспыхивают где-нибудь на солнечном месте малиновым цветом россыпи кислицы. Надо еще добавить черемшу, из которой хорошие мастера делают своеобразное соленье. А кедровый орех? А благороднейшая рыба — хариус? А цветы на альпийских лугах?! А сами горы, которые дают не только лес, но и еще — если умело распорядиться их склонами и распадками — молоко, мясо, шерсть...

В этих местах и вырос Василий Кудрявцев. Вскоре я услышал шум мотора. Впереди показался трактор с широкой квадратной кабиной, он медленно уходил вверх, а сзади оставлял вывороченные и сдвинутые в сторону камни. Между ними петляли узкие наезженные следы трактора «Беларусь». Значит, для него Кудрявцев и рассчитал дорогу, чтобы удобнее было возить с белков молоко.

Простой и, кажется, незаметный поворот жизни: с отгонных горных пастбищ (конечно, где это возможно) молоко сегодня возит быстрый, маневренный трактор. На равнине — это обычное дело. А здесь горы! И тонкость этого достижения вот в чем. Не было техники — возили на лошадях, на быках, пользовались дедовскими охотничьими тропами. Пришла техника — нужна дорога. И эта дорога — как символ движения вперед. Она началась в 1931 году, когда в башталинский колхоз первый тракторист Василий Хрусталеv привел первый трактор.

И теперь другой Василий, Кудрявцев, тридцать два года спустя, вел другой трактор, мощный С-100, в горы!

Радостно видеть такую сильную технику — творение рук человеческих. Навесные зубья легко вгрызались в грунт, сдвигали камни и валуны, глубоко сидевшие в земле. И трактор-машина под руками Кудрявцева, как муравей, убористо и цепко крутился на горной тропе. Кудрявцев вывел его на чистое место, остановил. Мы познакомились, сели на камни. Я с любопытством поглядывал на трактор, словно хотел найти на нем

какие-то особые отметины, потому что слышал уже: много он послужил людям.

— Это и есть тот самый ваш С-100?

— Он самый. Двенадцать лет уже на нем... Верите, в кабину сажусь, будто прихожу домой и сажусь на домашний диван! Привык к нему. Все его трактора-одногодки давно уже списаны, а я не даю.

— А почему? Есть же новые машины, вроде К-700?

— К хорошему человеку привыкаешь, так вот и я к трактору.

В неторопливом разговоре открывался искренний, душевно цельный человек, для которого труд, родная земля, односельчане — все сливалось воедино, как в своей собственной жизни.

...В войну не хватало лошадей.

В бороны запрягали быков и даже коров. А боронить выходили деревенские парнишки, им было лет по тринадцать, — Витя Дьяконов, Вася Кудрявцев, Леня Бочкарев, Вася Иванов... К полудню начинало гудеть в голове от жары, хотелось есть, и тут быки переставали подчиняться. Не помогали ни прутья, ни веревки. Быки тяжело сопели, а потом и вовсе ложились на пахоту. Ну что с ними делать?

— Давайте бзыку им подпустим!

«Бзык» — это когда скотину начинали одолевать оводы и, чтобы избавиться от них, телята, коровы и быки неслись напропалую в речку, в кусты.

Вася Иванов был мастер делать «бзык», он подходил к первому быку сзади и начинал жужжать на разные лады.

— З-з з... Бз-зы-з...

Бык начинал тревожно крутить головой, потом поднимался, махал хвостом, отбивал невидимого паука ногами.

— Гей! Но! Пошел! — было самое время вступать в дело погонщику. А Вася все еще зудел. Так он переходил из загонки в загонку, пока не приводил «в рабочее положение» всех быков, а своих оставлял напоследок. Иногда быки помолже не выдерживали, подхватывали бороны и неслись по пахоте. Их нужно было догнать, остановить и возвратит в свою загонку.

Осенью подростки дерзали в прицепщики.

ХТЗ цеплял два пятидесятипневных плуга — десять корпусов. Первым плугом управлял тракторист, а на втором сидел прицепщик. Осенняя вспашка обычно затихивалась, хотя трактористы работали от зари до темна. Особенно доставалось мальчишкам-прицепщикам. Ветром продувало фуфайчонки, руки немели от холода, прицепщики соскакивали с сиденья и бежали за плугом, чтобы согреться. Однажды ночью, когда после тяжелой работы Вася Кудрявцев лег спать, ему приснился отец. Будто он летел на гнедом коне по Уймонской долине. Вот уже остались позади Полеводка, Качанда, Тюнгур... Отец вез пакет партизанам. Скорее, скорее! Но вот навстречу рванулись какие-то фигуры. «Стой! Куда скачешь!» Отец знал, что будет с ним, если бандиты узнают, кто он, и вступил с ними в бой. Когда кончились патроны, он выхватил шашку и громко крикнул: «Вася, сынок, за мной!» И Вася, вскочив на белого-белого, как снег, коня, помчался за отцом, но никак не мог догнать, белый конь скакал на месте... А отца уже и след простыл.

Его отец был связным в отряде ЧОН и погиб

в тридцатые годы на Аргуте, когда красноармейцы изгоняли остатки кайгородовских банд.

...Теперь его зовут Василий Климентьевич. Мать, Веру Григорьевну, долго звали Клемихой — по мужу Климентию. Живуча и крепка память народная. Плохого она не забывает, а хорошее еще дольше держит в себе. Василий испытал это.

До службы в армии он поработал на «колесниках», НАТИ, ДТ и С-80. С последнего он и ушел служить, не просто трактористом, а молодым мастером работы на полевых машинах. Где-то через год ему написал письмо Парфилон Семенович Кудрявцев, дескать, ждем тебя, без тебя и трактор твой хуже работает... Читал Василий письмо и вспоминал, как Парфилон Семенович возился с ними, мальчишками, как прямо у трактора объяснял принцип работы и управления — долго учить некогда было, еще шла война. Потом он же послал Василия в школу трактористов в Буланиху. А после службы вручил младшему сержанту запаса сегоднешний С-100.

Много лет прошло.

Ушел бывший бригадир тракторной бригады Парфилон Кудрявцев на пенсию. А Василий все на том же тракторе работает. Первый раз нынче ездил ремонтировать его на завод. В прежние годы сам восстанавливал, в совхозных мастерских.

Каждый год Василий подвозит на нем к ферме 8—10 тысяч центнеров сена, буртует силос, правит дороги, возит лес, строительные материалы. Много тысяч рублей сберег он совхозу на ремонтах...

— Да ты сколько на нем думаешь тянуть? — шутят его товарищи, получившие новые «Алтаи» и «Казахстанцы».

— А пока не состарюсь! — смеется Василий.

А сам нет-нет да и подойдет к молодому трактористу, подскажет, что и как лучше сделать, или выговорит шутливо:

— Ты так грязью по уши зарастешь.

— Да ведь пыль, Василий Климентьевич...

— Ясно, что пыль. А вон — речка!

Его старенький С-100 заводится с полуоборота, работает плавно, без перегрузок. И со стороны кажется, что управлять им не труднее, чем «Запорожцем», может, потому, что за рычагами сидит Василий...

Тянет и Парфилона Семеновича к технике. Если нужно по делам, он садится на мотоцикл. Но это не то! Однажды весной он подошел к Василию.

— Думаю нынче поработать на вспашке. Возьмешь в напарники? В две смены поробим.

— И ты еще спрашиваешь, Парфилон Семенович!..

— Но ведь оно как: своя машина что свой конь.

— Мы у тебя учились, Парфилон Семенович...

— А теперь я буду у тебя учиться! — седой, могучего роста, ветеран дружески похлопал его по плечу.

Они провели весеннюю вспашку вдвоем. Перед последней сменой постояли они возле трактора, покурили, послушали долгий, ненасытный звон жаворонка над полем.

— Земля весеннюю силу чует, — вздохнул ветеран.

— Где-то как раз тут мы боронили на быках, — отозвался Василий.

— А помнишь, как ты у бригадира кнут требовал?

— Ага. И как первый раз на ХТЗ сел, тоже помню. Высоким сверху он казался!

— А я, Вася, может, свой последний круг сделал, — тихо сказал ветеран.

— Что ты, Парфилон Семенович? Еще погуляем!

— Ладно, не шуми, Вася. Годы свое берут. Пойду! — Ветеран пошагал к селу и ни разу не оглянулся. Видно, сдерживал боль, которую нелегко пересилить, когда кругом «земля весеннюю силу чувствует»...

А Василий завел мотор, взялся за рычаги. Его тоже охватило смутное чувство боли и радости за пережитое и за то, что еще будет впереди.

Вскоре они опять встретились с Парфилоном Семеновичем. В этот день Василию вручили диплом и грамоту заслуженного механизатора РСФСР. В доме было шумно. Приходили поздравить соседи, товарищи, родственники. Так когда-то во время войны шли в дом, куда вернулся фронтовик.

Дочь, первоклассница Валя, показывала гостям папин диплом, ей помогал Леня, он уже старше, пятый класс заканчивал. А старшая, Люда, помогала матери накрывать стол.

— Сколько раз тебе говорил: подними косяк! — раздался с порога знакомый голос Парфилона Семеновича. — А то ведь приду, по-стариковски сам тебе направлю...

Василий Климентьевич пошел ему навстречу: — В кабине моей помещаешься, а тут никак не можешь... Проходи, Парфилон Семенович!

— Ну вот, Вася, пришел, как говорится, и твой праздник. Поздравляю.

— Спасибо, Парфилон Семенович. Я бы тебя поздравил тоже, да ведь мал еще был — в сорочке втором еще получил ты свой орден!

— Э, чего вспомнил! — тряхнул головой гость. — Что поробили, то поробили... Теперь ваша очередь на ордена!

В радостных близких разговорах прошел вечер.

Василий пошел проводить Парфилона Семеновича. У речки остановились. Василий освежил водой лицо и сказал:

— Я вот о чем думаю. У тебя, Парфилон Семенович, три сына и все по твоей дороге пошли... Шофер, моторист и бригадир — нужные люди! А у меня один Леня, и тот приносит двойки попеременно с четверками. Я про девочек не говорю — у них теперь выбор большой!

— А чего он тебе должен приносить?

— Да учился бы хорошо. А там думаю инженером его сделать, и пусть едет домой. Вот хотя бы на наш Башталинский животноводческий комплекс, ведь его в семьдесят пятом году построят.

— А ты знаешь, Вася, что твой Леня на мотоцикле по воду ездит?

— На моем?

— А то на чьем же.

— Ни разу не видал!

— То-то, Вася. Пока ты на ферме да в поле, а он-то, гляди, машину изучил!

— Да он мне-то что же не говорит?

— Сам думай.

— Выходит, он...

— Выходит, Вася, инженера из него делать можно. Только руки приложи!

— Ну, спасибо, Парфилон Семенович.

— За что, Вася? Наше дело такое — глядеть да думать: кого за себя оставим на земле?

Они простились.

В селе было тихо-тихо.

2. ЧАБАН ТИХОН КЛЕПИКОВ

Жизнь есть жизнь. Она выдвигает такие повороты, на которых проявляется весь человек и его слабости, и его сила.

...Разговор этот должен был произойти. Он назревал долго, как назревают после знойной жары тучи, чтобы разразиться дождем.

В конторе Теректинского отделения совхоза шло совещание овцеводов. Обычное рабочее совещание в начале апреля, перед окотом овец. Естественно, что разговор зашел о получении большего количества ягнят и их сохранении.

— Я думаю, что все наши чабаны могли бы получать по 100—120 ягнят от ста овцематок, — сказал старший чабан Тихон Клепиков. — Опыт уже у всех есть, нужно только больше желания...

— Тебе хорошо говорить. У тебя, Тихон Ануфриевич, условия другие! — сказал один из его коллег.

Клепиков удивленно на него посмотрел:

— Какие же они у меня — другие?

— Тебе начальство больше внимания уделяет.

Чабаны засмеялись.

— Вниманием начальства овец не накормишь!

— Да у него и кормов больше!

— Это ты зря, — заметил ему управляющий Аким Егорович Субботин. — Кормов отпускается всем одинаково. А вот совесть — этого мы отпустить не можем. У каждого — своя.

— Давайте, товарищи, конкретно и о деле, — сказала Антонина Михайловна Кыпчакова, секретарь партбюро.

Организационных вопросов перед началом окота было много, и совещание шло еще долго...

Как же чабан Клепиков добивается своих успехов, о которых я слышал в парткоме совхоза, на Горбуновской ферме, в райкоме партии, читал в областной газете?

Теректа...

Старое село у самого ущелья, из которого вырывается шумная, напористая речка. Много лет назад я бывал здесь. И вот на этой луговине около моста стояли наши палатки. Мы, совсем еще мальчишки, нанялись в школьные каникулы в геологоразведочную партию — ухаживали за лошадьми, копали шурфы, собирали образцы пород...

Старое село. Но уже не то! В центре появились новые здания школы и клуба. Видна была издаലെ водонапорная башня. Белели новые крыши, желтели срубы, а около ворот и в оградах стояли тракторы. Эти тракторы — любопытная сегодняшняя примета в селах Уймонской долины. Сегодня они стоят у оград так, как когда-то стояли лошади, пока хозяин обедал. В горах трактор стал своеобразным «конем», только мощностю его в десятки раз выше.

По серым плахам под ветлами я перешел че-

рез ручей. За ним виднелся дом Клепиковых, весь в зелени черемух, ранеток, смородины. У ворот стоял на домкрате вместо переднего колеса белый «Москвич», из-под него в извечной шоферской позе торчали ноги в кедах. «Наверно, сын», — подумал я. Поздоровался и спросил о Тихоне Ануфриевиче.

— Дома, с пчелами возится.

Его могло не быть, потому что отары уже отправили на горные пастбища. Но получилось, что с отарой в эти дни остался его напарник Анатолий Соколов, и так они будут чередоваться все лето.

Клепиков оказался человеком чуть медлительным, высоким, с крупным носом, выступающим лбом и острыми голубыми глазами. Он — из сильных, думающих людей, а такие всегда неторопливы, зорки и доброжелательны.

Мы много говорили в тот день.

О чем? О его детях. О саде Теректинского отделения — лучшим в совхозе. О молодых ребятах, которые с охотой идут работать на фермы и в отары. О том, что иногда людей с хорошими трудовыми показателями перегружают общественными поручениями, половину из которых могут делать другие. Говорили о ягнятах, о пастбищах, о ранете, который вырывает возле дома... Говорили о чабанской работе...

Начало у Клепикова было такое. Когда врачи сказали: астма, на комбайне работать нельзя и на тракторе тоже, — ему нужно было решать, чем теперь заниматься.

Шевельнулась давняя мечта — стать пчеловодом. Дед его Осон держал пчел (теперь то место называется Осонов ключ, и там как раз стоят кошары Тихона Ануфриевича), и отец любил пчеловодство... И вот Клепиков пришел в контору с заявлением: «Прошу направить на курсы пчеловодов».

— Мед нам, конечно, тоже нужен, — сказал секретарь парткома, когда прочитал заявление. — А овцеводство важнее! Мы только сегодня о вас говорили на парткоме. Вы коммунист, надо поднимать овцеводство. Берите отару, Тихон Ануфриевич. И астма ваша отступит. Все лето на горном воздухе!

— Это понятно. Да ведь я с ними никогда дела не имел, с овцами-то!

— Специалисты помогут! Наш овцевод, Ирма Александровна Перова, подберет вам отару из своих экспериментальных. Да и заработки там повыше, тоже немало важно. А?

— Ну, что ж, — кивнул Клепиков. — Раз надо — пойду.

Так появилась в Теректе новая отара. Не из лучших она была — помеси ромни-марш второго поколения. Жена Клепикова, Екатерина Ивановна, пошла к нему в помощники. В первый окот они получили по 80 ягнят от 100 овцематок. После зимовки животные были ослаблены. На пастбищах дело пошло лучше, поднимались ягнята, овцы набирали силу и вес. А Клепиков изучал расположение горных пастбищ (на каждую отару отведены определенные участки), прикидывал, куда и в какое время перегонять отару, где лучше места отдыха и водопоя... Он по-настоящему увлекся новой работой. На опыте Клепиков открыл для себя, например, что зерно и сено давать им лучше на ночь, а утром, натощак, — солому.

Управляющий фермой Субботин сказал о Кле-

пикове: «И пасти раньше выгоняет и позднее всех возвращается с белков».

Верно. Это одна из главных особенностей летней работы с овцами — нажировать их. Тогда они и зиму перенесут легче и приплод будет сильнее.

Сам Клепиков рассказывал:

— Каждого ягненка в руках поддержишь! Появился — надо следить за ним, чтобы овца не бросила его, чтобы кормила, чтобы не затоптали другие в скученности. А потом ведь они и болеют. Кто тут может уследить? Только чабаны. Ветврач в это время далеко. Значит, либо под рукой держать для них лекарства. А ведь ягненку не объяснишь, что он больной. И возишься с ним, как с малым ребенком. Поймаешь, засыплешь ему в рот лекарство, глядишь, начинает чавкать-жевать, а там и проглотит... Что и говорить, беспокойства с ними хватит не на двоих, а на пятерых! Маток надо перед окотом подкрепить, рацион им получить, да рыбьего жира, если есть, — побольше. А начнется окот, тут уж не спи. Спасай ягнят, вовремя их отводи в клетку вместе с овцой. Но, к слову, дежурить не все наши чабаны по ночам любят, а потом и не досчитываются ягнят и думают: как же так получилось? Да... Вот поэтому некоторые одновременно окота. Боятся, что не успеют уследить, или попросту не хотят перегружаться. Еще важно что, — продолжал свой рассказ Клепиков, — важно советоваться. С напарником в первую очередь и с зоотехником. В совете находить свое. Я вот в первое время у старых чабанов просил совета. Лидия Тимофеевна Кыпчакова мне помогала, много полезного дала, хотя вроде и незаметно. Она рассказывала, как приучала маток к ягнятам. Бывает, объегнится овца, а ягненка не принимает, вот и хитришь, как его ей подсунуть. Лидия Тимофеевна даже так делала: видит, что овца не признает своего ягненка, она собаку подзовет поближе к нему, и у овцы инстинкт защиты срабатывает. Или молока не станет у овцематки, ягненка надо приучить к другой. Наука такая — только сам ее постигаешь! Вот так я и стал чабаном, — улыбнулся Клепиков. — В первый год мы получили по 80 ягнят от сотни овцематок, а шерсти настригли на 200 граммов больше, чем наши соседи. Потом пошло лучше: 120, 130, 140 ягнят стали выращивать. Третий год меньше ста двадцати ягнят на сто овцематок не получаем. В 1973 году мы соревнуемся со старшим чабаном Алексеем Талантаевым, в помощниках у него жена Ефросинья. У нас с Анатолием Соколовым результат 125 ягнят, у них — чуть больше ста. А добиться лучшего можно только трудом! И вот что радостно сознавать — все наши чабаны очень серьезно начали работать, так что через годик-два они меня догонят. Глядите, какая от этого совхозу будет польза!

Так закончил свой рассказ Тихон Ануфриевич Клепиков, пока мы сидели на прохладном крыльце его дома и говорили под тихое лопотание ручья.

Перед его отъездом в горы за столом собралась вся семья. Жена Екатерина Ивановна вернулась из совхозного сада — она там звеньевая, ей помогала дочь Саша, которая только окончила торгово-кулинарное училище и приехала домой, с ними же была и пятиклассница Тоня — все они в этот день сажали капусту. В саду еще выращивается редис, смородина, малина, ранет.

Сел за стол Ленья, он все утро возился с отцовской машиной. Бабушка пришла с внучкой Любой на руках — младшей дочерью Клепиковых. Не было только Гоши. Он сдавал последние экзамены в Горно-Алтайском зооветтехникуме.

— Ты не раздумал? — спросил Тихон Ануфриевич у Лени за обедом.

— Нет. Еду поступать в ЗВТ.

— Это что за «ЗВТ» выдумал? — спросила мать.

— Зооветеринарный техникум.

— А-а... Я думала, что-нибудь новое придумал.

— Смотри, к экзаменам-то готовься.

— Поступлю! Не хуже Гошки, — ответил Ленья.

Отец молча одобрил его ответ. Пусть учится. А там вслед за Гошей вернется домой в Теректу. Будет два сына-зоотехника.

Есть одна общая особенность у семей, родители которых проявляют себя в общественном труде. Их дети идут без уговоров, по своему выбору, делать то же важное дело, которому служат отцы и матери. В Горбуново у Николая Нохрина сын давно уже решил быть комбайнером, в Октябрьском сын бывшего бригадира тракторной бригады Владимира Круглова хочет стать шофером, сын Василия Кудрявцева из Башталы тоже тянется к технике, у Клепикова и старший сын Гоша, и младший Ленья чабанили вместе с отцом и решили стать овцеводами...

После обеда Тихон Ануфриевич выехал в сторону Теректинского хребта. Его белый конь легко шел по горной дороге, к седлу были приторочены дорожные сумы.

Переехав мост через Теректу, Клепиков повернул вправо и стал подниматься по глуховатому извилистому распадку. Воздух все свежел, к нему примешивались запахи хвои, розовеющего под солнечным местам шиповника и сыроватая чистота горного ручья.

Наконец открылся Тесовой лог — место первой летней стоянки. За ним белел снежный перевал. Когда в логу все травы будут скармлиены, чабаны перегонят отару за перевал, в верховья речки Букалы, где к этому времени будут хорошие пастбища, а к осени снова вернутся в Тесовой лог — здесь травы опять подрастут...

Навстречу Клепикову бросилась с лаем светло-серая сибирская лайка, закрутилась рядом с лошастью.

— Что, Ласка, соскучилась? — заговорил с ней Клепиков. — Гостинцев просишь? Ох ты, хитрюга...

Отара отдыхала на склоне.

Напарник Анатолий Ефимович Соколов, видно, только пообедал, мыл возле избушки посуду.

— Как дела? — спросил Клепиков.

— Порядок, — ответил тот. — Почему вот только один ягненок пострадал, бабсучиха покусала. Хорошо, Ласка вовремя учуяла, а то бы пропал... Я перевязал его, вон лежит.

Белый ягненок в бинтах выглядел необычно. Овца лежала рядом, обнюхивала перевязку.

— Раны я промыл, как полагаются.

— Вниз поедешь, позвони на центральную, пусть ветврач наведается, — сказал Клепиков, осторожно ощупывая ягненка.

— Обязательно.

— Ну, езжай, Анатолий. А мы начнем хозяйствовать. В банке еще успеешь сегодня попариться...

Анатолий медленно спускался вниз. Потом скрылся за поворотом.

Клепиков остался один на один с горами, с облаками, с отарой. Но он не был одинок. Там, внизу, в долине, люди делали свои простые и обычные, важные и нужные дела. Делали их и в исполкоме районного Совета, куда его второй раз избрали депутатом, делали и в райкоме партии, где он третий год является членом пленума, делали на всех фермах и полях Уймонской долины.

Он не был одинок еще и потому, что на горных пастбищах семьдесят таких же, как он, чабанов пасли в эту минуту совхозные отары...

Афанасию Лазаревичу Коптелову исполнилось 70 лет.

А. Л. Коптелов родился на Алтае в деревне Шатуново (ныне Залесовский район).

Его детство прошло в косной кержацкой семье, где редко звучал смех, песня и пляска считались бесовским наваждением, конфеты и даже сахар — поганым соблазном.

А. Л. Коптелов рано начал трудовую жизнь. В шести-семилетнем возрасте он уже был бороноволоком. Отец привязывал его веревкой к седлу, чтобы сморенный дремотой мальчик не упал с лошади.

Шестнадцать лет Афанасий Коптелов порвал с кержацкой средой. В этом ему помогли книги, к которым он пристрастился с детства и умел добывать даже в тогдашней сельской глухомани, а также общение с большевиком Осиповым, скрывавшимся в деревне от колчаковской контрразведки.

Афанасий Лазаревич учился в Барнауле на курсах красных учителей, работал книгоношей, учителем, председателем коммуны. Был селькором, а потом и сотрудником окружных газет, в том числе бийской газеты «Звезда Алтая». В 1924 году в журнале «Алтайская деревня» опубликовал свой первый рассказ «Поблазило».

А. Л. Коптелов — автор целой серии романов, повестей, рассказов, очерков и литературоведческих работ. Его первый роман «Светлая кровь» посвящен строителям Туркестано-Сибирской магистрали. Роман «Великое кочевье», воссоздавший «кочевье» алтайского народа из феодализма в социализм, одно из первых произведений советской литературы о возрождении «малых народов». Роман переведен на многие языки.

Эта же тема продолжена и в повести А. Л. Коптелова «Снежный пик». О шахтерах Кузбасса Афанасий Лазаревич создал известный роман «На горах!» Героической экспедиции погибшего в Саянах изыскателя Кошурникова писатель посвятил повесть «Навстречу жизни». Людей, неутомимо преобразующих родную Сибирь, Афанасий Лазаревич показал в романе «Сад».

Последние годы А. Л. Коптелов отдал работе над трилогией о В. И. Ленине — романами «Большой зачин», «Возгорится пламя» и «Точка опоры».

Этот перечень книг известного прозаика далеко не полон. Но А. Л. Коптелов не только крупный писатель, но и талантливый редактор, составитель многих книг, неутомимый собиратель литературных сил. Все его книги и вся общественная деятельность связаны с Сибирью. Алтай — родина писателя — занимает в ней особое место.

«Что дал мне Алтай? — говорит Афанасий



Лазаревич. — Все. Темы и события. Вдохновение в работе на добрую половину моей творческой жизни. Алтай дал краски из своей богатейшей палитры и аромат своих лесов, полей, лугов».

Но есть и «обратная» кровная связь. Немало дал родному краю большой сибирский писатель. Он запечатлел в своих книгах замечательных тружеников алтайской земли, ее горную и степную природу. Он много сделал для развития литературы на Алтае.

Горячо поздравляя нашего земляка, признанного мастера советской прозы, с его семидесятилетием, мы публикуем статью Г. Кондакова, рассказывающую о том, какую роль сыграл А. Л. Коптелов в росте алтайской национальной поэзии.

Георгий КОНДАКОВ

У КОЛЫБЕЛИ ПЕСЕННОГО СЛОВА

(АФАНАСИЙ КОПТЕЛОВ И АЛТАЙСКАЯ ПОЭЗИЯ)

Афанасий Коптелов и алтайская поэзия. Известный русский прозаик и алтайские поэты. Не надумана ли эта проблема? Но обратимся к многочисленным фактам, свидетельствующим о постоянных и длительных взаимосвязях автора «Великого кочевья» с поэтическим отрядом литературы, рожденной Октябрем.

Об этих творческих взаимосвязях в первую очередь говорит такой фактический материал. А. Коптелов уже более сорока лет пристально следит за развитием алтайской поэзии и способствует появлению стихотворений и поэм алтайских авторов на русском языке. Писатель является составителем многих поэтических сборников. Среди них можно назвать следующие: «Алтайская литература»¹ (Горно-Алтайск, 1955), «Голос Горного Алтая» (Москва, 1962), «Песни голубых долин» (Горно-Алтайск, 1963), «Подснежник» (Барнаул, 1963) и др.

А. Коптелов выступал не только как составитель стихотворных сборников, но и был организатором отдельных переводов. Писатель привлекал к переводческой работе таких поэтов, как Василий Непомнящих, Илья Мухачев, Евгений Березницкий, Елизавета Стюарт, Александр Смердов, Леонид Чикин...

Так, А. Коптелов пригласил В. Непомнящих в Горный Алтай, где 1 июня 1932 года отмечалось десятилетие Горно-Алтайской автономной области. В Ойрот-Туре (так тогда назывался Горно-Алтайск) русский поэт познакомился с Павлом Кучияком, перевел ряд его стихотворений, поэму «Арбачи». Предоставил слово самому А. Коптелову: «Василий Непомнящих в то лето перевел на русский язык несколько десятков алтайских песен. Он так любил этот народ, так увлекся его фольклором, что уже до конца своей творческой деятельности не расставался с работой переводчика. Он переводил не только стихи и песни, но и великолепные эпические народные произведения, которые Кучияк в детстве перенял от бабуш-

ки и дедушки, широко известных сказителей»¹.

Вот еще один пример. А. Коптелов в письме к П. Кучияку от 20 октября 1940 года писал: «Сказку «Алтай-Бучай» получил и уже отдал Смердову для литературной обработки». Поэт А. Смердов перевел, кроме названного героического сказания, еще «Малчи-Мерген», сказку «Сынару», многие народные песни, оригинальные произведения алтайских поэтов.

А. Коптелову принадлежит ряд статей, посвященных творчеству алтайских поэтов, начиная с Павла Кучияка и кончая Бронтоем Бедюровым. Наиболее значительными публикациями являются следующие работы: «Поэты Горного Алтая», «На просеке дружбы», «Светлые родники поэзии», «Павел Кучияк».

Различные проблемы поднимает А. Коптелов в статьях об алтайской поэзии. Почти в каждой работе писателем ставились вопросы традиции и новаторства, доказательно и убедительно говорилось в них о роли русской поэзии в становлении и развитии поэтических талантов Горного Алтая.

А. Коптелов, говоря об алтайской поэзии, все время подчеркивает своеобразие ее традиции. Лирика Горного Алтая возникает не на голом месте, у нее были предшественники — народные певцы, устная народная поэзия. Вот что писал по этому поводу автор многих книг о людях гор: «Помню, невежественные люди говорили об алтайцах:

— У них нет поэзии. Нет песни. На что взглянет кочевник, про то и поет.

Песни, конечно, были. Их слагали неграмотные люди. Песни своеобразные, интересные. Великолепен героический эпос алтайцев, потрясающе богат яркими картинами борьбы за счастье народа, смелостью мысли, вольным полетом мечты»².

Это положение А. Коптелов развивает в статье «Светлые родники поэзии». Писатель указывает на причины появления алтайской песни — это и

¹ Антология «Алтайская литература», включающая поэтические, прозаические и драматические произведения, составлена совместно с алтайским литературоведом и писателем С. Суразаковым.

¹ В сб. В. Непомнящих «Покорение тайги», Новосибирск, 1964, стр. 12—13.

² Личный архив П. Кучияка.

³ Сб. «Песни голубых долин», Горно-Алтайск, стр. 4.

рождение ребенка в семье, и первая поездка на коне, и удачная охота на кабаргу, и летние хоро- воды (ойыны) под лунным небом на росистом лугу, и свадьба, и смерть человека. «Песенное слово, — продолжает автор статьи, — родилось на заре жизни, когда человек только-только научился говорить. Вырубая на стене пещеры силуэты зверей, он пел песню, как заклинание: охота будет удачной! Песня обростала поэтиче- скими подробностями и нюансами, как дерево листвою, наполнялась драматическими события- ми, свидетелями которых были древние песне- творцы»¹

Таким образом, у алтайской поэзии была своя национальная почва, своя национальная тради- ция, которая жила и своеобразно развивалась в поэзии Павла Кучияка и развивается в творчестве современных поэтов Лазаря Кокышева, Аржана Адарова, Эркемена Палкина, Паслея Самыка, Бо- риса Укачина, Бронтоя Бедюрова.

Анализируя одно из стихотворений Э. Палки- на, которое проникнуто любовью к устной поэ- зии и которое заканчивается словами «Песни, сказки, нежные слова, ну куда, куда же вы ухо- дите?», А. Коптелов делает справедливый вы- вод: «Это не случайные строки. Истоки алтайских поэтов — в фольклоре. Они начали свой путь от народной песни, от героического сказания»².

Далее писатель ссылается на образное и точ- ное высказывание С. Я. Маршак: «Связь литера- туры с фольклором жизненно необходима, пи- сатель без традиции — то же, что секундная стрелка без часовой». По этому поводу А. Копте- лов замечает, что «поэты Горного Алтая обла- дают верными часами».

Рассматривая вопрос о национальной тради- ции, А. Коптелов подробно анализирует отдель- ные стихотворения алтайских поэтов, например «Рождение пастуха» Л. Кокышева. Писатель об- ращает внимание читателя на строки: «Чтоб сы- на принять, травянистые доли заранее свои рас- тянули подолы. Его ожидая, таежные птицы реши- ли не петь — в тишине затаиться», «Мальчише- ский голос звенел неустанно, и крику откликну- лись гор караваны», «Да к ночи о мальчике, низ- ко видна, заботилась старая ланька-луна. И ке- дры над ним вековые шумели — сказанья седые над мальчиком пели» — и некоторые другие. Писатель так комментирует эти стихи: «Здесь — поэтика героического эпоса. Оттуда перекочева- ли в современные стихи безудержная гипербо- лизация и слияние с природой. Подчеркнуто ве- личие человека, который, любясь красотой Ал- тая, без боязни будет шагать по кручам гор»³.

Вне всяких сомнений, что стихотворение Л. Кокышева «Рождение пастуха» связано с тра- дициями героических сказаний. Фольклоризм отмеченных писателем строк, да и сам быстрый рост новорожденного («Но сыну уже колыбель не под стать, и он над горами пытается встать! И встал, ухватившись за ветви руками») — убедительное свидетельство того, что произведение алтайского поэта возникло на фольклорной почве.

Алтайские поэты, опираясь на родной фоль-

клор, стремятся к творческому осмыслению устной поэзии в соответствии с индивидуальными идейно-художественными принципами. Это, по мнению А. Коптелова, выражается в создании образов и картин, носящих фольклорный характер и имеющих современное звучание. Писатель приводит много различных примеров. Остановимся на одной строфе из стихотворения А. Адарова «Человек». А. Коптелов приводит такие строки:

Сколько лет мне сейчас?
Или, может, веков?
Я не знаю.
Не сочту, сколько раз
На земле зеленел, как весна, я,
Не сочту, сколько раз
Бронзовел я, как спелая осень,
И белел, как зима,
И рождался для будущих весен.

(Перевод А. Смольникова)

Образ, созданный А. Адаровым, в традиции устной поэзии, он продолжает такую качествен- ную сторону фольклора, как гиперболизм. Эта сторона анализируется А. Коптеловым. Но тут следует отметить и такую особенность: подкю- чение к национальной традиции скорректирова- но новым характером художественного мышле- ния. Анализируемый образ и традиционен, и в то же время он нов, необычен. Эта необычность выходит за национальные рамки, она связана с характером мышления современных советских поэтов, например с творчеством лауреата Ленин- ской премии Э. Межелайтиса. Так традиционное, обогащенное национальным и интернациональ- ным поэтическим опытом, становится новатор- ским.

Традиция и новаторство — понятия, тесно взаимосвязанные и взаимообусловленные. Исти- на, которая редко у кого в настоящее время вы- зывает сомнение. Это понимают и сами поэты. Прав Паслей Самык, сказавший: «Когда поэт вы- рывает себя, как дерево, из почвы, у него жел- теет листва»¹. Поэт — это сын Алтая «с пасту- шеской котомкой за плечами», которую он же называет «песенным мешком». В связи с этим А. Коптелов делает такое замечание: «В пути по- лезно почаще заглядывать в котомку и помнить о том, что положили туда деды и отцы».

Автор «Великого кочевья» напоминает и дру- гую весьма важную истину: «Однако одних на- циональных традиций недостаточно для творче- ского роста. Даже самые надежные часы нужда- ются в сверке времени. Первым это почувство- вал Павел Кучияк»². Свою мысль А. Коптелов подтверждает убедительным разбором стихов зачинателя алтайской литературы.

Писатель, хорошо знакомый с поэтикой алтай- ского фольклора, точно подметил то новое, что было внесено П. Кучияком в поэзию. В первую очередь это касается нового социалистического содержания его поэзии и такой черты его стихов, как лиризм — качество, которое было развито первым алтайским поэтом. Все это: новое содержание, появление лирической струи — требовало коренной ломки фольклорной поэтики.

¹ Сб. «Поэты Горного Алтая», Новосибирск, 1972, стр. 15.

² Сб. «Песни голубых долин», Горно-Алтайск, 1963, стр. 25.

¹ Сб. «Поэты Горного Алтая», Новосибирск, 1972, стр. 8.

² Сб. «Песни голубых долин», Горно-Алтайск, 1963, стр. 24.

³ Сб. «Песни голубых долин», Горно-Алтайск, 1963, стр. 24—25.

Подтверждением этой мысли может быть следующий разбор стихотворения П. Кучияка, сделанный А. Коптеловым: «Свое великолепное стихотворение «Катунь» он начал традиционной песенной строкой: «Если с берега на тебя погляжу...» Эта форма в следующей строфе требовала повторения, примерно такого: «Если с высокой горы на тебя взгляну...» Но вдумчивый поэт, на первых порах многому научившийся у фольклора, удержал себя от традиционного повторения, — он почувствовал, что слепое подражание старому эпосу ограничило бы его, отозвалось бы судорогой в крыле его мысли. И он, избежав старомодности, стал набрасывать широкую картину. Свободный полет мысли помог ему отыскать отличные поэтические образы: «Шум твой — вечные споры с камнями», «Тыходишь на бело плямя»¹.

П. Кучияк, по меткому выражению А. Коптелова, «вовремя понял, что его часы нуждаются в сверке с боем курантов Спасской башни Московского Кремля»². Первопроходец алтайской литературы почувствовал острую необходимость творческой учебы у великой русской поэзии. Рост П. Кучияка как писателя и поэта, рост его идейно-художественного мастерства связан с тем, что он был хорошо знаком с высокими образцами русского поэтического слова. Он не раз признавался, что «слагать стихи его учили не только сказители, но и Пушкин»³.

В своих статьях, посвященных поэзии Горного Алтая, А. Коптелов много внимания уделяет роли русской поэзии и прозы в становлении и развитии художественного метода социалистического реализма, в идейно-эстетическом обогащении алтайских литераторов. В статье «Литература возрожденного народа», которая была написана совместно с поэтом Сазоном Суразаковым, высказана такая мысль: «Зарождению и быстрому развитию современной алтайской литературы способствовало главным образом наличие классической литературы великого русского народа...»⁴

А. Коптелов намечает и основные каналы, по которым осуществлялось знакомство алтайских поэтов с культурой русского народа, определяет главные источники развития и обогащения их поэтического опыта.

Знакомство с русской литературой у современных алтайских поэтов начиналось со школьной скамьи. Полученные знания углублялись во время учебы в высших учебных заведениях. Большинство современных алтайских писателей закончило Литературный институт имени Горького. Это Лазарь Кокышев, Аржан Адаров, Эркемен Палкин, Борис Укачин, Александр Ередеев, Бронтой Бедюров и другие. Эта мысль неоднократно подчеркивается во многих высказываниях А. Коптелова.

Освоение огромного эстетического опыта русской поэзии алтайскими поэтами носило творческий характер. Они не только изучали классические поэтические образцы, но и активно и плодотворно переводили их на алтайский язык. Алтайские читатели получили на родном языке книги А. Пушкина, М. Лермонтова, В. Маяковского и

многих других классиков русской поэзии. «Это духовно обогащало алтайскую культуру, — справедливо отмечает А. Коптелов, — способствовало ее дальнейшему росту и развитию, поднимало мастерство алтайских художников»¹.

Когда говорим о взаимосвязях, идейно-эстетическом взаимодействии и обогащении литератур народов СССР, мы не должны забывать, что этот процесс всегда носит конкретный характер, проявляется в конкретных формах. А. Коптелов обращает внимание на личные творческие контакты русских и алтайских поэтов. Он пишет: «У алтайской поэзии были и есть верные друзья — русские литераторы (в том числе литераторы Новосибирска), отдавшие свой талант переводу героического эпоса, народных песен, а затем и письменной литературы алтайского народа на русский язык. Многие сделали Илья Мухачев и Василий Непомнящих, Александр Смердов и Евгений Березницкий, Елизавета Стюарт и Илья Фоянчиков, Леонид Решетников и Леонид Чикин. Немало переводили москвичи Борис Слуцкий, Алексей Смольников, Евгений Храмов. Переводы духовно обогатили русского читателя, познакомили его с жемчужинами алтайского народного творчества, с талантливыми произведениями поэтов...»²

Естественно, что А. Коптелов не ставил перед собой задачи всесторонне проанализировать эти взаимосвязи. Эта актуальная и интересная проблема нуждается в специальном исследовании. Дело в том, что в настоящее время эти личные контакты приобрели более широкий характер. Обилие и разнообразие фактов конкретных взаимосвязей русской и алтайской поэзии — это благодатная почва для важных теоретических выводов.

А. Коптелов, говоря о расширении поэтического горизонта своих алтайских друзей, отмечает: «Многие дали им поездки за рубежи нашей родины, в братские социалистические страны. Они успешно овладевают богатствами мировой культуры. Теперь они пишут не только о своем крае, но и о друзьях из Латвии и Грузии. Они пишут о кубинском мальчике Энрико и об авторе «Витязя в тигровой шкуре», о Бернсе и Овидии, о Диего Ривера и Микисе Теодоракисе. В поле их поэтического зрения весь беспокойный мир. О них можно уверенно сказать, что они становятся с веком наравне»³.

Развитию алтайской поэзии способствовали художественный опыт русской литературы и опыт литератур братских народов. Теперь у алтайских писателей тесные творческие контакты с литераторами Якутии, Бурят-Монголии, Тувы, Хакассии, Казахстана, Татарии, Киргизии, Украины, Литвы, Дагестана, Азербайджана... Об этом свидетельствуют дни алтайской литературы в разных автономных областях и республиках нашей страны; например, в апреле 1972 года состоялись дни алтайской литературы в Донецкой области Украинской ССР.

Эта проблема в современном алтайском литературоведении пока не изучается. Тем большая заслуга А. Коптелова, обратившего серьезное внимание на эту сторону литературных взаимосвязей.

¹ Сб. «Песни голубых долин», Горно-Алтайск, 1962, стр. 25.

² Там же.

³ Там же.

⁴ Алтайская литература, Горно-Алтайск, 1955, стр. 19.

¹ Сб. «Поэты Горного Алтая», Новосибирск, 1972, стр. 11.

² Там же.

³ Там же, стр. 14.

Растут и развиваются личные творческие контакты алтайских поэтов с писателями братских социалистических стран. В появлении таких отношений большую роль сыграл Литературный институт. Нет сомнения, что, например, личное знакомство Паслея Самыка с великим турецким поэтом Назымом Хикметом, стихи которого алтайский юноша горячо полюбил, имело важное значение для формирования его идейно-художественных принципов, его мировоззрения.

Обобщая все эти и многие другие факты литературных взаимосвязей, А. Коптелов делает такой вывод: «Все это позволило им поднять поэзию своего родного края на новый качественный уровень. Мастерство стало выше, палитра богаче, нюансы тоньше. Они, в частности, успешно пользуются поэтическим опытом таких больших мастеров поэзии, как Владимир Маяковский и Назым Хикмет»¹.

А. Коптелов обстоятельно говорит о художественном мастерстве своих друзей из Горного Алтая. Его идейно-художественный анализ произведений алтайских поэтов отличается высокой эстетической требовательностью. Писатель умеет точно и верно отметить положительное в творчестве того или иного автора, указать и на недостатки.

Кропотливая работа с алтайскими поэтами, бескорыстная помощь, оценка и рецензирование, составление и редактирование стихотворных книг — все это сыграло положительную роль в развитии алтайской поэзии в целом. Действительно, А. Коптелов — один из тех писателей, которые стояли у колыбели песенного слова, у колыбели алтайской лирики. Да и само творчество писателя, автора многих книг об Алтае, известных произведений о В. И. Ленине, имело и имеет важное значение для литераторов Горного Алтая.

Творческий опыт А. Коптелова по освоению алтайской темы незримо присутствует и в работе поэтов Горного Алтая. Так, например, Аржан Адаров говорит об А. Л. Коптелове: «Л его считают своим учителем».

В творчестве А. Адарова большое место занимает тема великого кочевья родного народа от феодально-патриархального уклада к социализму. Нет сомнения, что эта главная проблема является магистральной для алтайской поэзии. Глубоко и содержательно эта тема была решена

¹ Сб. «Поэты Горного Алтая», Новосибирск, 1972, стр. 14.

А. Коптеловым в известном романе «Великое кочевье». Вполне естественно, что адаровские стихи перекликаются с идейно-художественной проблематикой А. Коптелова. Это проявляется и чисто внешне. Одно из стихотворений Адарова так и называется «Великое кочевье». В нем художественная формула, найденная русским писателем почти сорок лет назад, наполнилась новым содержанием.

Тема эта прозвучала и в стихотворении «Кочевники». Оно рассказывает о прошлом народа, прикочевавшего из глубины веков. Приметы прошлого поэту видятся и во многих современных предметах, например: «В настольной лампе червячок блестящий напомнит пламя жаркое костра». Но главное — в другом.

Но это — миг. Засытые кривые
Пути кочевий спутаны вдали.
Мы прибыли на место. Мы впервые
Не гости, а хозяева земли...

(Перевод И. Фонякова)

А. Коптелов в своем романе показал переход алтайского народа от кочевого уклада к оседлости, т. е. показал время, когда старый уклад был разрушен, а новый только создавался. А. Адаров, родившийся в тридцатые годы, является представителем другого поколения. Он осмысливает путь своего народа, его судьбу с высоты нового времени. Выросло самосознание. Бывший кочевник осознал себя хозяином земли, хозяином собственной судьбы.

А. Адаров, развивая и углубляя эту тему великого кочевья родного народа, обращается уже к новым поколениям, напоминая им о трудном историческом пути через века. С горечью он пишет: «...солнце мой народ веками не видал: с нуждою воевал, спину гнул под байскими пинками — голову поднять не успевал». Вполне естественно возникает образ человека, указавшего путь народам к новой жизни.

Знаю точно: если бы не Ленин,
Мне бы тоже солнца не видать!

(Перевод И. Фонякова)

Таким образом, творческие взаимосвязи известного советского писателя Афанасия Лазаревича Коптелова и алтайских поэтов — одна из ярких страниц в летописи дружбы народов нашей страны.

Владимир КОМАРОВ

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ГЛАВКОМ

(К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Е. М. МАМОНТОВА)

«Если бы Мамонтов имел такие же успехи и пользовался таким авторитетом в Красной Армии, его, наверное, пришлось бы наградить десятками высших боевых наград. У нас же он получил лишь благодарность штаба через приказы».

Так писал один из сотрудников Главного штаба партизанской армии.

Читая эти строки, я вспоминаю встречи с бывшими партизанами армии Мамонтова. С огромным уважением и любовью говорят они о своем главкоме, о его стратегическом таланте, смелости, находчивости, простоте в обращении.

Глубокую горечь вызывает у соратников Ефима Мефодьевича обидная и нелепая смерть героя. Много напечатано о боевых делах «сибирского Чапаева». В этом очерке хочется рассказать о менее освещенном, последнем периоде его жизни.

Пожалуй, никогда еще так не волновался Ефим Мефодьевич, как в этот раз, подлезая к Кукую. Не однажды ему приходилось покидать родительский дом и вновь возвращаться в него. Первый раз не был он дома почти целых восемь лет, когда служил на Дальнем Востоке, а другую — на германском фронте. Потом уходил из дому во время колчаковского переворота, скрываясь в степи, в бору и даже в далеких Алтайских горах. Потом когда командовал партизанским отрядом и целой партизанской армией. А еще — когда воевал против Врангеля. И каждое возвращение не походило одно на другое.

Навсегда запомнилось, например, возвращение с германского. Отец латал пимы, да так и застыл с дратвой в зубах, увидев в дверях Ефима. Мать от внезапности опустилась на лавку и во весь голос запричитала. А Дора ойкнула, странно зачлбынулась и побелела, словно стена.

Это в первый миг. Потом все оправилось от кратковременного замешательства. Отец и мать, как полагалось в таких случаях, троекратно расцеловались с сыном, жена стащила с печки двух ребят и, подталкивая их к Ефиму, с волнением говорила:

— Чего испугались? Да это ж ваш папанька с войны пришел.

Вот этот миг и был самым памятным для Ефима. Не верилось ему, что перед ним стоят его сыновья. Старшему, Степану, когда Ефим уходил в армию, едва сравнялось два года, а Костя родился на первом году его службы. И почему-то они всегда казались ему маленькими, почти ползунками. Теперь же перед ним стояли два ладных, таких же, как и он, голубоглазых хлопца. Только сейчас Ефим понял, какими долгими были восемь лет царской службы.

Привет в этот раз Ефим детям гостинец — баночку леденцов. А всей семье — граммофон с пластинками.

Со всего Кукуя сходились к Мамонтовым люди. Слушали музыку, а больше рассказы Ефима. Рассказывал он об окопной фронтовой жизни, о революционных событиях в армии. И часто о том, как на первом Всероссийском съезде Советов, где Ефим был в качестве делегата от солдат Северо-Западного фронта, довелось слышать самого Ленина.

А вот посещения дома, которые удавалось делать урывками в период подпольных скитаний и партизанщины, запомнились Ефиму как тяжелый сон. То он видел насмерть перепуганную колчаковцами мать, то избитого до потери сознания отца, то умирающего брата Тимофея. И в довершение всех бед, которые обрушились на семью Мамонтовых, — спаленный дотла отчий дом.

Тогда Ефим сразу же после ухода карателей подъехал верхом на коне к дымящемуся пепелищу. Кругом — ни души. На пустынном дворе, прижавшись к голой, опаленной огнем вербе, стоял его тринадцатилетний брат Иван. Он трясся от страха и плакал. В одной руке у Ивана была большая, в красивой бумажной обертке конфета, а другой он держал за поводок дворовую собаку Волчка.

Конфету дал Ивану белый офицер, надеясь, что мальчишка расскажет ему, где скрываются кукуйские подпольщики. Волчка отвязали от крыльца солдаты, которым было приказано поджечь дом.

Теперь Ефим Мефодьевич ехал домой в мирное время. И должность у него была самая что ни на есть мирная. Он был агентом Сибторга по снабжению мельниц запасными частями. Ехал

он не один, а с кучером Францем, который в гражданскую войну служил в знаменитой мадьярской роте. Ехал не надолго, на какую-то неделю — навестить родных да подыскать себе в помощники надежного человека.

Вот и Кукуй. Отцов дом еще издали показался ему чужим и сиротливым. Ефим привык к старому дому, который спалили колчаковцы. Тот дом ставил дед Олимп со своими сыновьями. Строили они его на российский манер — с просторными комнатами, резными ставнями и кружевным карнизом. В том доме прошло все Ефимово детство. Там он справлял свадьбу. Оттуда уходил в армию. В том доме родились его дети.

А нынешний, стоящий когда-то в бору на кордоне, вырешил Мамонтовым сельский Совет. Отец сам перевез его по бревнышку из бора. И когда заколотил последний гвоздь в тесовую крышу, сказал:

— На наш век и этого хватит.

Подъезжая к дому, Ефим соскочил с саней, хотел было отворить ворота, но там уже стоял отец — приземистый, с русой окладистой бородой, в длинной холщовой рубашке и без шапки. Он с легкостью распахнул створки ворот:

— Значит, явился. А мы тебя уж жаждали.

В доме Ефима встретила сияющая от радости Дора и заметно постаревшая мать. Они сразу начали хлопотать насчет бани и ужина. Забегали, засуетились. А Ефим снял кожаный ватник, стянул с ног настывшие за дорогу чесанки и, подхватив на руки трехлетнюю дочь Анну, взобрался на печь. Там была подвешена зыбка, в которой поспывал его пятимесячный сын Коля.

Босой, в расстегнутой черной сатиновой рубашке, Мамонтов стал похож на того прежнего, чисто деревенского Ефима, который умеет прекрасно пахать землю, вершить стога и столярничать, любит крестьянские заботы, песни, пляски. И казалось, что он сроду никогда не был главнокомом партизанской армии.

А в крестьянской работе Ефим умел многое. У отца он научился и плотничать, и столярничать. Умел сделать и табурет, и оконную раму, а берестяные туески Ефимовы — хоть на ярмарку.

Любил Ефим, как и отец, собирать в бору грибы и ягоды, ловить петушков в степи косачей.

От отца перенял он и страсть к кулачному бою. Отец до самой старости ходил на кулачки. Не раз Анастасия Федоровна обкладывала распаренным в кипятке мохом вывихнутые пальцы мужа.

Мефодий Олимпович считал кулачки полезной забавой. Тут, кроме силы, потребны смекалка и ловкость. Действовать надо на честность: лежащего не бить, и в руках чтобы никакого предмета не было.

Ефим до самого ухода в армию вместе с отцом участвовал во всех кулачных боях, отстаивая честь своей улицы.

А вот страсть к песне и пляске — это у Ефима от матери. Но мать понимала толк не только в веселье. Она под стать мужу была неутомимой дружицей. На ней держался весь дом с многочисленными детьми и внуками. И внешне она выделялась среди домочадцев. Осанистая и на голову выше Мефодия Олимповича, Анастасия Федоровна во всем любила строгий порядок. Но в то же время была доброй и отзывчивой, особенно к бедным людям. Кому чем помочь — в этом деле она первая. Бывало, понесет молоко на молоканку и дорогой раздаст. То вдовцу Олей-

никову, у которого на руках после смерти жены осталась куча детей, то еще кому-нибудь. Придет домой с пустым ведром и скажет:

— Проживем. У нас не семеро по лавкам.

В этот проезд Ефим днем работал по хозяйству.

Вечерами приходили к нему друзья — бывшие партизаны. Они подолгу сидели в накуренной комнате, расспрашивали Ефима о жизни-бытии в других местах и гадали, какой будет урожай. А поздними вечерами собирались все Мамонтовы вместе. Не было только старших Ефимовых сыновей, Степана и Константина, которые учились в Барнауле.

Мамонтовы вспоминали прошлое. Мать даже вспомнила, как пятилетний Ефим впервые взял серп и попробовал жать хлеб, но порезал пальцы. Рубцы на пальцах сохранились у Ефима по сей день.

Кроме разговоров о прошлом, любили Мамонтовы спеть песню. В таких случаях Анастасия Федоровна обращалась к сыну:

— Зачни, Юша, ты ведь у нас из всей родни певун.

Незаметно пролетело время отпуска. Из Вострово в Барнаул Мамонтов с Францем выехали перед масленицей. Предстояло проделать путь почти в триста верст и все время вдоль Касмалинского бора. Старики говорили: раньше кое-кому удавалось на хорошем коне преодолеть это расстояние менее чем за двое суток. Теперь мало сохранилось хороших коней. Много их было убито и покалечено во время сражений.

Под Ефимом, например, только в одном бою у Малышева Лога двух лошадей убило. Тогда подвел к нему жеребец-красавца один из бойцов мадьярской роты и сказал:

— Береги скакуна, командир, такого не всегда встретишь.

И все же не уберег главноком полюбившуюся ему лошадь. Перед самым концом войны кто-то из своих же партизан ночью увел ее. Стоит сейчас где-нибудь в теплом пригоне командирский конь. Знал бы Ефим где, пешком бы дошел, но коня своего выручил.

До Солоновки, находящейся в двенадцати верстах от Вострово, доехали незаметно. На целых полдня задержались в бывшей партизанской столице. Не мог Мамонтов так просто минуть село, с которым связан самый главный период в его жизни. Сначала он заехал к партизанскому кузнецу Семену Чеканову и застал его в кузне. Но прежде чем повести гостя в дом, Семен показал ему только что откованный из шрапнельного снаряда лемех:

— Ты первый нагадал, Ефим. Помнишь?

Да, это было во время Солоновского боя. Белые беспрестанно били из пушек по Солоновке. Однажды головкой — «стаканчиком» шрапнельного снаряда — чуть-чуть не задело главнокома. Он стоял у колодца на первой улице, расположенной недалеко от линии партизанской обороны. Стакан ударил в журавец, отскочил и, пролетев в самой близости от него, шлепнулся в снег. Главноком тот стакан привез в штаб, показал его интенданту партизанской армии Игнату Чеканову:

— Вот из чего лемеха добрые выйдут. Таким любую целину поднимать можно.

Удивился Игнат сказанному: рядом кипит страшный бой, а он о целине. Знать, крестьянская любовь к земле брала верх над всеми его

военными талантами. После боя передал Игнат этот разговор своему брату Семену.

И вот Семен снабжает солоновских крестьян самодельными пугалами.

Побыв у Чеканова, Мамонтов навестил бывший штаб партизанской армии. На окнах нижнего этажа так и остались решетки из толстых железных ободов. Здесь во время войны содержали и допрашивали пленных белогвардейцев, а после — хранили трофейное оружие. А наверху, где размещались отделы штаба, теперь была школа.

Мамонтов по широкой деревянной лестнице поднялся наверх. Там в двух больших комнатах шли уроки, а в двух маленьких, похожих на коридорчики, было пусто. Только у окна стоял бывший штабной стол. За этим столом Мамонтов подписывал различные приказы и диспозиции предстоящих боев. За ним сидел во время бурных совещаний членов главного штаба и командного состава партизанской армии. На столе — ведро и ковш. Тоже штабные. От бревенчатых стен исходили еле уловимые запахи конской сбруи, самосада и медикаментов — запахи гражданской войны. Казалось — вот сейчас вбежит сюда залыхавшийся и распаренный от быстрой езды верхом на коне вестовой, сдвинет шапку или папаху на самый затылок и доложит главному, что творится на том или ином участке фронта. Потом зачерпнет из ведра вот этим здоровенным ковшом воды и выльет ее всю до дна.

А стены комнаты были густо оклеены воззваниями, боевыми приказами и информационными бюллетенями, которые издавал партизанский штаб в 1919 году. Все сохранилось. Даже отдельные изорванные листки были аккуратно подклеены мучным клейстером. Видно, за неимением букварей и книг для чтения, берегли в школе всю эту документацию, чтобы по ней обучать детей грамоте. Мамонтов внимательно рассматривал пожелтевшие и засиженные мухами листки. На него опять дохнуло войной. Будто вновь он встретился с товарищами по оружию.

Вот приказ № 1 за его подписью. Это когда еще не было партизанской армии, а был небольшой отряд. В приказе сообщалось о начале восстания. Население призывалось оказывать помощь партизанам, которые именовались солдатами. Тут и самое первое обращение к крестьянам и фронтовикам. Обращение сочинял все тот же Чеканов Игнат, занимавший в начале должность секретаря штаба. Оно заканчивалось стихами, не совсем складными, но написанными от души:

Песня свободная прославляется
Песня сменяющая столы
В Сибири весь народ колышется
Выбросить золотопогонное правительство вон!

В других приказах, уже по армии и изданных от имени Главного штаба, говорилось об отпуске учителей из армии по случаю начала учебного года, об охране леса как о достоянии всего народа, о конфискации химических красок для выпуска облигаций военного займа, о борьбе с пьянством.

Увидев «Известия» информационного отдела штаба за 29 ноября 1919 года, Мамонтов заулыбался. В «Известиях» говорилось, что на станции Поспелиха восстали новобранцы 43 и 46 белогвардейских полков, которые ходили на Соло-

новку. А вслед за этим сообщалось: «К этому не мешаает добавить рассказ прибывшей в село Лебяжье из Омска учительницы. Она рассказывает, что перед падением Омска над городом летал аэроплан красных, который сбросил пару лаптей и 80 рублей денег и письмо. Письмо и деньги адресованы Колчаку. На деньги советуется купить сала и смазать пятки, чтоб не потрепались лапти».

И сохранился приказ, в котором говорилось, что военный отдел Облакома, избранного на съезде крестьянских и солдатских депутатов, нашел необходимым избрать главнокомандующего. «На основании сего немедленно предлагается всем отрядом, действующим на всех фронтах, выдвинуть достойного кандидата на пост главнокомандующего Западно-Сибирских революционных войск, строго придерживаясь той мысли, что главнокомандующим не может быть лицо, замеченное в каких-либо незаконных действиях, нарушающих общий порядок хода революции».

И вновь главнокомандующим избрали Мамонтова. Хотя перед этим некоторые поговаривали: дескать, главному проявил излишнюю суровость к военнопленным. А случилось это после малышевского боя.

Выстроили тогда на площади перед штабом группу военнопленных. Вышел к ним Мамонтов со своими помощниками штабистами и спросил, нет ли среди них добровольцев. Партизаны делили всех пленных на две категории: добровольцев и мобилизованных. Мобилизованные, можно сказать, насильно были взяты в колчаковскую армию. Их партизаны отпускали на все четыре стороны. Добровольцев же, как правило, отдавали под суд, так как они славились особой жестокостью по отношению к мирным жителям. Еще раз переспросил главному насчет добровольцев. Тогда вытолкнули из строя одного солдата. И, может, обошлось бы все по-мирному, не услышав главному, что тот доброволец в Малышевом Логу двух малолетних детей ради потехи казнил. Прижал скамейкой к стене и раздавил. И вот впервые за всю свою жизнь не выдержал главному. Выхватил саблю.

Понял тогда Мамонтов: простили ему партизаны, раз выбрали главному.

Из Солоновки Мамонтов с Францем поехали кромкой бора вдоль окопов, где стойко сражались мадьяры. А у двух избитых пулями сосен остановились. Мамонтов сказал Францу:

— Здесь погиб Федор Колядо.

Погладив рукой шершавые стволы деревьев, добавил:

— Костры подвели.

И действительно, в ту ноябрьскую ночь, когда Федор Колядо со своим полком Красных Орлов лепил на выручку зажатым с трех сторон партизанам, белые жгли костры. Не на виду, конечно, а в траншеях. Отблески от костров уходили вверх, будто из-под земли. И почудилось тогда командиру Красных Орлов, что до вражеских окопов рукой подать. Повел он своих бойцов в атаку раньше времени. Белые успели развернуть пулеметы и открыли сильный огонь.

От того места, где погиб Федор Колядо, Мамонтов с Францем свернули на большак, который вел до самого Барнаула. По пути они нагнали власихинского мужика Степана Терешенко. Он ездил на соляные озера к Марзагулу, пытаясь раздобыть хлеба. Со Степаном они ночевали в селе Буканском. А когда стали подъезжать к

Власихе, Степан пригласил Мамонтова к себе.
— Погрейся с дороги, Мефодьевич.

Село Власиха находилось в двенадцати верстах от Барнаула, если путь держать напрямик через бор и Сухой Лог. Власиха мало чем отличалась от других сел. Разве тем, что здесь ярмарки сроду никогда не проводились. Город рядом. Иди и выбирай, какие тебе надо, товары. Да тем, что школа была получше. Да бедноте деревенской простор был побольше для заработков. Кто не хотел мытарить у Баниных, Барсуковых и других сельских мироедов, подавались на Булыгину заимку. Там братья Маляновы держали пимокатню. У них человек двадцать на две смены работало. Иные шли в Барнаул к купцу Полякову. Тоже катать пимы. В остальном Власиха была такой, как и все села.

В начале 1918 года во Власихе, как и в других местах, появились активные сторонники Советской власти. Особенно агитировали за Советы Шульдешов Михаил и Пузырев Петр. В гражданскую войну власихинцам перепало от белых не меньше, чем жителям других сел. Поролы за все. И за то, что их сельчане — Быструхин Наум и Дорофеев Аксен — ушли к партизанам в армию Мамонтова. И за то, что белых привечали не так, как положено. Деда Липата, можно сказать, за язык высекли. Обратился как-то дед к белым:

— Вы, — говорит, — господа, у меня прошлых раз седло и потничок брали.

Они и всыпали ему за тот потничок.

А Тихона Симонова за связь с партизанами зарубили около Шахов.

Конечно, были среди власихинцев и такие, которые перед белыми бисером рассыпались. Те же Банины и Барсуковы. Или Минай Дорофеев — однофамилец партизана Аксена Дорофеева. Они и после изгнания колчаковцев мечтали, как бы от большевиков избавиться.

Ефим Мефодьевич пробыл у Терещенко недолго. Тот оставил его у себя, но Мамонтову никакого расчета не было нечевать во Власихе: Барнаул рядом. Они с Францем рыскали в обед. Село праздновало масленицу. Разносились песни. Молодежь каталась на тройках. У Мерцалова Никиты родня отводила свадебный стол. Никита жил с умом. Знал, как копейку лишнюю добыть и сколотить хозяйство. Вот уж несколько лет подряд он скупал и перепродавал скот. Кроме родни у Никиты полно гостей и дружков. И всех он старался угостить вдосталь.

Мамонтов с Францем по главной улице выехали за деревню. Франц дремал, уткнувшись головой в сено. Вдруг Мамонтов выпрыгнул из саней и стал посреди дороги. Навстречу ему бежал запряженный в кошеву конь, точь-в-точь, как тот скакун, которого ему подарили мадьяры. Это возвращался из Барнаула во Власиху Дорофеев Минай.

Мамонтов остановил Миная, присел к нему на кошеву, заговорил спокойно:

Откуда у тебя такой конь, товарищ?

Минай съезжился, словно ему за ворот сыпанули снегу. Не сказав ни слова, столкнул Мамонтова с саней и во всю прыть понесся во Власиху. Он влетел во двор к Никите Мерцалову и заорал дико:

— Конокрад объявился!

Знал Минай, что плетет напраслину. Понимал, что не конокрад это, а скорее всего какой-нибудь комиссар. Слишком большая злоба была

у Миная на всех большевиков и комиссаров. Не в тот край они поворачивали жизнь, в какой хотелось Минаю.

В сани к Минаю заскочил Жиронкин Федот, и они, круто развернув коня, поскакали назад. В это время Мамонтов пешком вошел в село. Попросил катавшихся на тройке девчат подвезти его к центру. Но те с визгом бросились прочь, усилив и без того поднявшуюся суматоху.

Минай с Жиронкиным подъехали к Мамонтову. Ефим Мефодьевич, глядя на их злобные лица, понял: добра не будет. Но все же сказал им мирно:

— Неужели вы меня не узнаете? Я Мамонтов.

Минай, надвигаясь на Мамонтова, передернул плечами:

— Вот как раз тебя нам и чадо.

Они сшибли Ефима Мефодьевича с ног, стали бить. А сзади надвигалась толпа. Та, что гуляла у Никиты Мерцалова. Впереди шел, размахивая гирей, Леутин Илья. Илья с Минаем были в родстве, Илья, как и Минай, все время мечтал о богатстве. Он уже и молотку завел. Был он крутонравен и часто впадал в настоящее бешенство. Один раз на покосе даже бросился на свою жену Устинью с литовкой.

Когда Илья поравнялся с Минаем, тот шепнул ему на ухо:

— Сам Мамонтов попался. Ухряпать бы его, пока народ не сошелся.

Мамонтова подхватили под руки и, страшно ругаясь, потащили в сельский Совет. Кто-то крикнул вслед:

— Зачем же так над человеком измываться? Может, он на самом деле товарищ Мамонтов.

— Кому товарищ, а нам не товарищ! Конокрад он, а не Мамонтов! У меня коня отобрать хотел! — как можно погромче объяснял Минай.

Били долго. Били чем попало: кулаками, ногами, гириями. Особенно лютовали, подбадривая остальных, Мерцалов Никита и Леутин Илья. Для них Мамонтов был теперь главным врагом. И после того, как Леутин со всего маху ударил его гирей по голове, все кончилось.

Кавалерийский отряд из Барнаула прибыл во Власиху ночью. В остуженной комнате сельского Совета находились все члены местной партийной ячейки. Их было трое. А на большом голом столе, весь окровавленный, с изуродованным до неузнаваемости лицом, лежал бывший главнокомандующий партизанской армии.

На полу валялись сорванные со стен плакаты и листовки. Среди них синий с оборванным верхом листок, на котором было напечатано воззвание к алтайскому крестьянству:

«Товарищи, за кого же вы?

За белых или за красных?»

Помните, что ни посредине, ни с краю места нет. Весь мир раскололся на два лагеря: первый из них — рабоче-крестьянский лагерь, другой — буржуазии и капитала.

Я ваш вождь Мамонтов, ведущий вас к освобождению от кровавого Колчака, призываю вас теперь оказывать всемерную поддержку Советской власти. Приходите к ней на помощь, если можете, исполняйте все ее декреты и предписания, накормите голодающих рабочих и красноармейцев. Знайте, что ваш первый вождь, поднявший вас на освобождение Сибири, идет не с шайкой изменников и предателей, а твердо стоит за рабоче-крестьянскую Советскую власть и ра-

богач с нею. Следуйте же моему примеру — этим вы спасете свою жизнь, наладите хозяйство и справитесь со всеми врагами».

Внизу стояла подпись:

«Бывший Главком партизан ныне комбриг Мамонтов».

Это воззвание Мамонтов написал в 1920 году, уходя с бригадой добровольцев — бывших красных партизан Алтая — на Врангелевский фронт.

* * *

Все проезжающие через село Вострово, в центре которого на асфальтированной площади высится Дом культуры, спрашивают, где здесь жил Ефим Мефодьевич Мамонтов. На том месте, где стоял его дом, сожженный колчаковцами, воздвигнут памятник. На улице его детства и

юности строится новая двухэтажная школа. И совхоз в селе имеет очень хорошее название — «За власть Советов».

В соседней Солоновке в музее партизанской славы значительный раздел посвящен главкому алтайских партизан. И власихинцы улицу, на которой свершилась когда-то трагедия, назвали именем Мамонтова.

Имя главкома армии сибирских партизан навсегда осталось в названиях рабочего поселка и железнодорожной станции, колхозов и пионерских дружин Алтая.

Имя Мамонтова с достоинством пронесли по дорогам Великой Отечественной войны брат главкома Иван, его сыновья — Степан и Николай и племянники — Матвей и Михаил.

Никогда не исчезнут из народной памяти красные партизаны Алтая, героически сражавшиеся за власть Советов, и их легендарный главком.



В. СЕРЕБРЯНЫЙ

ОБЕСПЕЧЕНО ЖИЗНЬЮ

(К 50-ЛЕТИЮ Г. В. ЕГОРОВА)

Мне выпало познакомиться с Егоровым в годы, когда он еще и «молодым» писателем не был, а был редактором стройгазовской многотиражки, а вскоре после того — корреспондентом краевого радио. Нам нравились теплые очерки о людях (чаще всего он писал о сельских руководителях, которых знал благодаря прежней работе в районных газетах), нравились он сам — всегда доброжелательный, улыбочно-спокойный, с поразительно органичным чувством душевного такта...

А работал он тогда очень напряженно. Вставал в пять часов утра, делал зарядку с увесистыми гантелями (чтобы не слабела с трудом возвращенная в строй после тяжелого ранения правая рука) и садился за стол, пока не проснулась и не поднялась семья — жена и двое сыновей... Так что на работу он приходил как бы на вторую смену. А потом была «третья смена» — снова дома.

Особенно трудно стало, когда понял, что будущая книга требует его всего, без остатка, и пришлось оставить журналистскую работу.

Когда, утомившись, заходил отвлечься к нам на радио, кто-то — один и тот же — вроде бы и доброжелательно, но в то же время не без обидного сочувствия возгласил: «А, «партизан»!...»

Многим казалось, что взялся Егоров за перспективную тему: о гражданской войне уже писано-переписано ее участниками и очевидцами; есть, мол, более злободневные проблемы — сто-

ит ли тратить силы, здоровье, лучшие, самые продуктивные годы жизни на еще одно слово о давно прошедшем. Да и сам он об этом думал. Я вот сказал тут: «будущая книга», — а ведь он не знал, будет ли эта книга издана. И как раз в эту пору вышли у нас рассказывавшие о гражданской войне на Алтае повесть Венедикта Зырянова «Освобождение» и роман Анатолия Чмыхало «Половодье». Кому нужна третья книга подряд вроде бы об одних и тех же событиях!

Но не знал Егоров и другого: как это можно жить со всем тем, что накопилось в его сердце за годы детства в семье партизана, за годы общения с участниками партизанской войны, с жаркими листами архивных документов, — и не поделиться этим с людьми!

Тяжело было писать, но не писать — и вовсе невозможно... А что трудно — так впервые, что ли. О войне и говорить нечего; а так ли уж позади послевоенные зимы в Солтоне? Жили в тесной избушке, электричества не было, дров не очень хватало. Над русской печкой висел на крючке перепоясанный в своем одеяльце Юрка — первый сын, а на табуретке в тазу вода была подернута льдом. Если кто вечером придет в гости — нашарит в потемках ручку двери, откроет; ворвется морозный воздух — кричат в сторону двери: «Кто там?» И первые Юркины слова были: «То там?..»

Сейчас-то работать можно было...

Книга все-таки вышла. К сорокалетию Егорова

ва. Тираж назначили вроде смело: тридцать тысяч. Но все тридцать тысяч разошлись неожиданно быстро. И читатели, и магазины требовали: «Еще!» Следом за первым тиражом в 30 тысяч экземпляров вышел второй — в сто тысяч, который разобрали еще быстрее, чем предыдущий. А потом книга стала переиздаваться каждые три года — так что недавно вышла в пятый раз. Книга эта была — роман «Солона ты, земля». Книга настолько популярна на Алтае, что просто незачем здесь рассказывать о ее содержании. Кто же из читателей альманаха не помнит — будто сам видел их — героев этого романа: простого, быстрого на смелые и остроумные решения Колядо; скромного, самоотверженного и чистого партизанского комиссара Белоножкина; сложную, расколотую гражданской войной семью Большаковых; самобытного попа отца Евгения... Даже порожденный фантазией писателя трагикомический образ деда Юдина — литературного брата Щукаря — не выгладит в романе эпигонским. Мало того, дед Юдин даже нашелся — в Киргизии. И прислал Егорову письмо, в котором так и заявил: «Это про меня. Только я жил не в Усть-Козинке, а в Куликово, и в книге пропущено про мой арест и побег. Если у тебя нет книжки, я вышлю, ты вставь про это, потом мне пришли».

Интересен в романе образ руководителя большевиков, учителя Аркадия Данилова. Хотя имя Данилова вошло в жизнь Егорова еще в годы детства, мальчишеское воображение больше поражали, конечно, рассказы о бесстрашном Колядо, о партизанской юности отца. К личности Данилова посоветовали ему приглядеться товарищи по экспедиции из Западно-Сибирского военного округа, с которыми Егоров в 1959 году ездил по следам партизанских боев. Но все-таки детские впечатления сыграли здесь важную роль: живя среди людей, которые делали историю, Егоров впитал какие-то основы того масштаба, с которым потом будет подходить к людям, к явлениям жизни.

Большинство его героев — это люди, озабоченные — каждый по своему — судьбами страны, или, по крайней мере, своего родного края.

О Данилове и его соратниках Егоров как-то рассказывал в «Алтайской правде».

«После нападения фашистской Германии Аркадий Николаевич в первые же месяцы обратился по радио к своим бывшим соратникам по партизанской войне против колчаковщины с призывом «тряхнуть стариной» — поехать партизанить в немецкий тыл. Очень много бывших алтайских партизан откликнулось на призыв своего комиссара. 145 человек после медицинского освидетельствования были признаны годными к боевым действиям... 40 человек из них после войны вернулись. Остальные алтайские партизаны полегли вместе со своим комиссаром в калиновских лесах за Советскую власть, которую они завоевывали в гражданскую».

Почти с такой же меркой Егоров с юности привык подходить и к своим поступкам. Он никогда не выбирает, где легче. Выбирает, куда зовет сердце. А оно зовет Егорова туда, где он чувствует себя нужнее, а свой вклад — весомее.

Так он оказался на фронте; так стал участником Сталинградской и Курской битв, так провел несколько труднейших и интересных послевоенных лет на селе; так, надолго отказав и себе и своей семье во многом, сел за рабочий стол писателя...

Без этого человеческого жизненного и, я бы сказал, смертного опыта не мог бы он написать ни своих романа и повести о гражданской войне, ни, тем более, последующих своих книг, из которых пока что полностью опубликована — и тоже сразу же получила признание массового читателя — «Книга о разведчиках». Книга — благодарность людям, с которыми посчастливилось ему быть рядом в опасных рейдах по вражеским оккупам, в окровавленных воронках от снарядов, на трудных маршах. Напомню оттуда только две детали, которые (без намерения писателя) много говорят о Егорове и его семье. В очерке «Лейтенант Атаев» писателя (и читателя) потрясает гибель роты автоматчиков, в несколько минут расстрелянной на открытом месте вражеской артиллерией, и безутешное горе ее командира. И лишь как повод для этого потрясающего воспоминания — запись автора в военном дневнике: «Второй день наступаем на одну высоту... и почти никаких результатов».

«Два батальона нашего полка и автоматчики погибли».

«Через несколько минут идем в наступление вместе с пехотой».

«Прошу того, кто вынет этот дневник, переслать его моей матери по адресу: Алтайский край, ст. Топчиха... (сейчас 20.00 московского времени)».

Дальше — по очерку: «Приказ командования был жестким: взять высоту во что бы то ни стало, она является ключом к важному стратегическому пункту. Выполнить этот приказ должны теперь остатки третьего батальона и наш взвод разведки... Конечно, вернуться с этого взгорка шансов не было... Но... немцы не стали испытывать больше судьбу, отступили под покровом ночи».

В жизни — чуточку сложнее: как раз там Егоров и получил свое самое тяжелое ранение. Но он тут же самокритично объясняет: «Из-за лени все. Метрах в семи от меня траншея сзади — а, думаю, ладно, не видят. Ну и разорвалась мина рядом».

Вторая деталь — посвящение к очерку, который называется «Я хочу на фронт»: «Памяти братьев моих Анатолия и Бориса». Оба брата были моложе Георгия. Один, тоже ушедший на фронт добровольцем, как впоследствии выяснилось, участвовал в одном с ним сражении за Житомир командиром самоходного орудия. 18 лет было ему. Вскоре он погиб на территории Тернопольской области.

Не стану комментировать эти факты, а только добавлю: взрослые сыновья Егорова вслед за отцом упорно тянулись к литературе. Не хотелось этого Егорову (дрогнуло-таки сердце: труден путь литератора). Но уж коли настаивают на своем — идите через все сложности жизни. Потому что писатель начинается не за столом.

...Когда говоришь с ним — ощущаешь, как исходит от него добрая молодая сила, взглядывающая вдаль. В самой ближней дали у него — задуманный роман. Это будет книга, прежде всего, об удивительных, добрых и самоотверженных людях — рабочих милиции.

Чуть подалее — хочет вернуться к своей «Книге о разведчиках», сделать ее повестью. Потому что пока в ней, в основном, — сердечная дань прошлому. А хочется, чтобы в книге в большей степени было осмыслено пережитое — чтобы больше пригодились она в будущем.

Ольга НЕЧУНАЕВА,
научный сотрудник Алтайского госархива

АЛТАЙСКОЕ ЛИТО

После окончания гражданской войны, несмотря на голод и разруху, свободный народ во весь голос заговорил об искусстве. В губернских и уездных городах создавались секции, открывались литературные студии, молодежь тянулась к знаниям, к культуре.

В сибирских городах Красноярске, Омске и Барнауле по инициативе местных литераторов были организованы секции Лито, основной задачей которых было объединение художественно-литературных дарований и ознакомление населения с художественной литературой всех народов. Предполагалось открытие студий, проведение вечеров, докладов, диспутов и лекций, издание художественных сборников и журнала, организация секций Лито в уездах для более широкого охвата людей из рабочей и крестьянской массы.

Работа секции Алтайского Лито началась с февраля 1921 года, в секцию входило 30 человек, среди них такие известные в Сибири литераторы, как Жилияков, С. Исаков, Артем, автор «Спартака» Сандомирский, переводчик Бодлера Булгаков и начинающие поэты, беллетристы, газетные работники.

Через три месяца работы Лито в приложении к первомайскому номеру газеты «Красный Алтай» выходит художественно-литературный выпуск «1-е мая» под редакцией коллегии Лито при Алтгубполитпросвете. В этом номере известный алтайский писатель Глеб Пушкарев дал обзор работы объединения и определил основные задачи на ближайшее время.

«Задачей секции, — писал он, — является объединение литературных сил из широких трудовых масс населения...»

Собрания секции устраивались по понедельникам. Основная часть времени была посвящена чтению новых рассказов, стихов, пьес.

За короткое время состоялось 14 собраний, из которых два были посвящены дискуссии об имажинизме, одно — изобразительному искусству. Объявлялось три конкурса: в память Парижской Коммуны, в честь посевной кампании и Первого мая.

Для выявления детского творчества предполагалось проведение детских конкурсов и образование литературно-художественных кружков в школах. Литературное объединение популяризировало произведения местных авторов. Были изданы рассказ Г. Пушкарева «У хлебов», пьеса Ляликова «Советь проснулась», подписана к печати пьеса Ангарова «В деревне».

В начале мая Губсекция Лито открыла литературно-художественную студию в Барнауле, ставившую перед собой задачу: подготовить кадры литературных работников.

Студийцы прослушав общий курс, распределялись по семинарам поэзии, прозы, истории литературы и журналистики. Желавшие поступить в студию проходили творческий конкурс.

Барнаульские литераторы стремились к контакту с литобъединениями других городов Сибири. Алтайское Лито предлагает всем Гублито Сибири поставить на очередь вопрос о созыве областной конференции литераторов, на которой должны быть разрешены наиболее важные вопросы литературно-художественной жизни Сибири.

В первом номере газеты «Красный Алтай» за 1922 год опубликованы «Новогодние размышления» члена объединения С. Лепского. К этому времени занятия Лито были перенесены с понедельников на вторники, и С. Лепский говорит, что с «понеделниками» закончился «агитационный» период в жизни Барнаульского Лито.

Оживление в работе объединения по вторникам он объясняет тем, что «больше стало непосредственности, литературной искренности, больше глубины, свежести, настроения. После агитационного периода наступил период самоопределения, период выявления литературного лица и литературных устремлений».

В начале января 1922 года в сообщениях о занятиях Лито появляется новое имя — Анна Караваева.

Анна Караваева выступила со своими первыми стихами, и они сразу были замечены, оценены, а вскоре и напечатаны в сборнике Лито. Нередко А. Караваева выступала с чтением своих стихов на вечерах, перед участниками школьных кружков.

Литобъединение следило за ростом молодых талантов. Один из вечеров был посвящен анализу школьных журналов «Девятый Вал» и «Наша Коммуна».

«Простой, живой и искренний доклад т. Караваевой о рассказчиках и поэтах «Девятого Вала» и «Нашей Коммуны» нашел чуткий отклик у слушателей. Между литовцами и молодежью установилась весьма дружественная связь» («Красный Алтай» № 33, 1922 г.).

Творческими руководителями молодежи были члены Лито. Юные поэты объединялись в кружки и даже свои Лито. Так, при губкоме РКСМ

в марте 1922 года организовалось юношеское Лито, которое объединяло молодых поэтов, членов РКСМ.

«В его задачи входит выявление путем организации литературных вечеров интереса у членов союза к литературному творчеству. Прodelать внутреннюю работу по ознакомлению своих членов с пролетарской поэзией и т. д.» («Красная молодежь», № 56).

В августе образовалось литературное объединение на рабфаке. Кроме основной задачи развития творчества и самостоятельности членов объединения был подробно разработан курс докладов на общественно-литературные темы художественных произведений XIX—XX вв. Первое выступление Лито проводилось в форме общественно-литературного суда над интеллигенцией 30—40 гг. XIX столетия.

Преподаватель рабфака Г. Федосеев писал: «В докладе и в речах лиц, принимавших участие в суде, чувствовался не только огромный интерес к общественным и умственным течениям обсуждаемой эпохи, но и внимательное изучение материалов по первоисточникам, здоровое критическое чутье, независимость суждений и, что особенно ценно, стремление к научному исследованию и деловой оценке литературных героев, окружавшей их исторической среды».

Публичные доклады читались каждое воскресенье и привлекали массу слушателей; кроме этого, каждую среду в кругу членов Лито рабфаковцев более опытные литераторы выступали с докладами по иностранной и русской литературе.

Таким образом, в Лито приходила рабоче-крестьянская молодежь, расширялся круг деятельности барнаульских литераторов.

А. Караваева со страниц газеты «Красный Алтай» (№ 204, 1922 г.) обратилась с призывом: «Если вы любите творчество слова, то боязнь товарищеской критики вам не может быть препятствием... Товарищи, за работу! Вступайте в члены Лито!».

В это время голод в Поволжье уносил тысячи человеческих жизней. В стране создавались комитеты помощи голодающим. Население других губерний посылало крестьянам продукты, одежду. Барнаульское Лито тоже не осталось в стороне, приняло участие в сборе пожертвований для Поволжья. Проводились платные литературные вечера, диспуты, собранные средства вносились в фонд помощи голодающим. В газете «Красный Алтай» (№ 62, 1922 г.) появилось стихотворение А. Караваевой «Старуха», посвященное этому тяжелому периоду в жизни нашей страны.

Лицо, как древяня икона,
Все темное, в комках морщин.
Метет буря, и ветер стонет
И треплет рванный мех овчин.

Стучит промерзлая берёста,
Тропинку щупает костыль.
Вихрь леденит дыханьем острым,
И снежная кружится пыль.

Смиренно, нежеланной гостью
Переступить через порог,
Чтоб взять с сочувствием иль злостью
В котомку кинутый кусок.

Входить во многие ограды,
Дохнуть на миг чужим жильем,
А тело старое бы радо
Согреться, отойти теплом.

Была когда-то молодойкой,
Звонкогосой, разбитной,
Веселой, спорою хозяйкой,
С двором и жирною землей.

И вдруг, изныв от знойной жажды,
Иссохла земляная грудь.
И родство разорвала с каждым,
Чтоб бросить в жизнь их как-нибудь.

Мотает гривой вихрь кудлатый,
Одна и здесь, и в вышине...
В вагоне тесном ждут внучата
И зябко льнут спиной к спине.

Стихотворение далеко от художественного совершенства, но оно согрето искренним глубоким чувством.

Известная в то время поэтесса Лидия Лесная, член литобъединения, обратилась в редакцию газеты «Красный Алтай» с письмом: «Товарищ редактор, ужасы голодной смерти на Волге обязывают всех нас испробовать все возможности и пройти все пути, на которых может встретиться поддержка для голодных. Мне кажется необходимым открыть прием пожертвований в редакции «Красный Алтай» по примеру «Известий» ВЦИК и др. газет. Прошу не отказать в приеме от меня скромного взноса, которым я хочу положить начало непрерывному потоку поступлений. Я верю, что они будут и щедростью превзойдут все сделанное до сих пор» («Красный Алтай», № 62, 1922 г.).

Наконец, осень 1922 года принесла спасение от голода.

И вскоре появляется новое стихотворение А. Караваевой — «Хлеб», эпиграфом к которому взяты строки из письма: «У нас в Поволжье уже едят хлеб».

За лесом звезды чуть потухли,
Весь в мутной дрожи серый свод,
В бадейке тесто пышно пухнет,
И клетку мать в печи кладет.
Огонь запрыгал под дровами...
Ало-рыжий юлит космач...
Мать необычными руками
Крутит в муке витой калач!

(«Красный Алтай», № 222, 1922 г.)

Лито в Барнауле за непродолжительное время существования объединило вокруг себя творческие силы города и провело большую просветительную работу среди населения. Одним из активнейших участников Лито была Анна Александровна Караваева, ставшая впоследствии известной советской писательницей.

САТИРА И ЮМОР

Михаил Прокопчук родился в пос. Суйга Томской области. После окончания средней школы работал кузнецом, плотогоном, вальщиком леса, печником, кочегаром, служил в армии.

Сейчас механик по швейным машинам на комбинате химического волокна.

Печатался в краевых газетах, альманахе «Алтай».

Михаил ПРОКОПЧУК

ВЕЗУТ ШПАЛУ

Висят над Обью громкие гудки...
У парохода бронзовая глотка.
Гружёные три баржи вверх реки
толкает он присадистой походкой.
От шпал на баржах терпкая смола,
настой сосновый по реке разносит.
Побольше пару — срочные дела!
Сильнее, пароход, крути колёса.
Лучами солнце плещется о борт —

на пароходе встречном груз немалый.
А что везёт тот встречный пароход!
Да те же шпалы.
Расходятся суда. Гудков раскат
несётся от Нарыма до Чулыма.
Как два кита, что не окинет взгляд,
ползут гиганты в поволоке дыма.
Таращатся тяжёлые баржи:
а шпала мчит в далёкое верховье,
а из верхов везут её в низовье...
Снуют у яра ярые стрижи.

НА УТРЕННЕЙ ЗОРЬКЕ

На утлой карче
Полураздетый
Кручусь — рыбачу
В курье с рассвета.

Крошу приманку,
Себя не чаю,
В консервной банке
Червей считаю...

Вдруг камень сзади
Бултых об карчу —
С чего бы ради...
Второй... — Задача!

Глядь: это Галька,
Что у пекарни
В субботу скалкой
Лупила парня.

Дурит... Пугает
Моих подъязков:
Вода кругами,
Как черти в пляске.

Ныряют камни,
Места глубоки...
Как понимать мне
Ее намеки!..

Татьяна УШАКОВА

ВРЕМЕНА ГОДА

ВЕСНА

Весна, какого цвета? —
Спрошу я у ребят.
— Весною флаги красные
На улицах горят.
А на деревьях почки,
Зеленые листочки,
Солнце золотое,
Небо голубое.
Весна, какого цвета? —
Прошу у вас ответа.



ЛЕТО

Солнце трудится весь день.
Целый день светить не лень.
Раньше всех оно встает,
Отправляется в поход.
Мне б проснуться раньше солнца,
Но проснусь — оно в оконце!



О С Е Н Ь

Рыжие кружатся листья,
Рыжие травы в полях,
Рыжие зерна пшеницы
Льются рекой на токах.
Рыжие рыжики, вижу,
Выросли в травах, в лесу.
Лес по-осеннему рыжий
Рыжую прячет лису.



З И М А

Снег ложится в лужицы,
Над домами кружится.
Словно тоненьким стеклом
Лужица покрыта,
Словно белым молоком
Улица залита.



СОДЕРЖАНИЕ АЛЬМАНАХА «АЛТАЙ» ЗА 1973 ГОД

ПРОЗА

БОРОДКИН Петр. Федор Геблер. Добрый доктор. Рассказы	IV	44	ВИТКА Василь. Парус. Стихи	II	6
БУБЕННОВ Михаил. На Катунь. Рассказы	I	29	ВЫДРИН Игорь. Мой край. Старым большевикам. Стихи	III	75
ГУЩИН Евгений. Ледолом. Рассказ	I	60	ГРАХОВСКИЙ Сергей. На сибирском тракте. «Мы выросли на хлебе и мякине...». Стихи	II	7
ГУЩИН Евгений. Тень стрекозы. Рассказ	IV	25	ГРЕЧНИКОВ Анатолий. Мать. Стихи	II	8
ДАВЫДОВ Геннадий. Маркуша. Медведи. Рассказы	III	68	ДЕМИН Иван. В трамвае. Улица. «Мне не ворваться в звездный мир...» Стихи	II	66
ДВОРЦОВ Николай. Удар судьбы. Главы из романа	I	38	ЕРШОВ Леонид. Пушкин. «Все в жизни проходит как будто...». Ночные поезда. «Ах, эта заячья охота...». Стихи	I	36
ИЗВЕКОВ Валерий. Журавлиное лето. Рассказ	III	58	ЖИРОВ Геннадий. Матери. Стихи	III	57
КАРАВАЕВА Анна. Мера счастья. Рассказ	I	21	ЗЕМНОЙ Вадим. Солдатам моего поколения. «Роса на стерне, на комбайне...» Стихи	III	66
КОЛЕСНИКОВ Евгений. Иван — человек. Повесть	IV	7	КАЗАКОВ Владимир. В разгаре нынешнего лета. Был и есть переулочек. «Оглушен, опрокинут и смят...». Шофер. Июнь. «Уже отгремел, не прикаянь...». День нынешний. «Прости меня, милая...». «Осенний ли ветер...». «Все чаще ухожу искать в поля...». «В полях моих...» Стихи	IV	21
КОПТЕЛОВ Афанасий. Товарищ Богдан. Глава из романа	I	5	КИРИЛЛОВА Ирина. «Мне не надо...». «Я — осока, я — травинка...» Стихи	III	74
КУДИНОВ Иван. Далекой весны дыханье. Фрагмент из повести	I	45	КОСАРЕЦКИЙ Владимир. Последний журавль. У реки. Октябрь. Морозным утром. Стихи	III	47
КРЫЛОВ Юрий. Мельница. Десятка. Тайна. Рассказы	III	71	КУЗНЕЦОВА Татьяна. Память. «Ах, кочевья, ах, степи, степи...»	III	74
РАКША Ирина. Весь белый свет. Глава из повести	I	49	ЛИСОВСКИЙ Казимир. Чикет-Аманский перевал. Сад. Стихи	I	47
СИДОРОВ Виктор. Пека. Няма. Было утро и было солнце. Рассказы	II	54	МЕРЗЛИКИН Леонид. На Телецком. «Я не помню когда, только с давней поры...». Кисть. Стихи	I	43
СЛОБОДЧИКОВ Валерий. Аз, буки, вежи... Рассказ	III	63	САМЫК Паслей. «Что было бы, если бы Демон женился на Тамаре...». Стихи	I	73
СТУКАЧЕВ Борис. Ищу собаку. Рассказ	III	49	СКВОРЦОВ Евгений. Лирическое отступление из поэмы. «Вечереет и тоненько звякает стеклами вьюга...». «Спасибо, что ты стала не нужна...». Стихи	III	48
УКАЧИН Борис. Цвет времени. Повесть	II	9	СПРИНЧАН Бронислав. Пахари. Металл. Стихи	II	5
ЧЕРКАСОВ Николай. Ванюха. Рассказ	II	47	СТЮАРТ Елизавета. Анос. Отдых. Стихи	I	19
ЧЕРКУН Борис. Цунами. Повесть	III	5	ТЕПУКОВ Александр. Жаворонок. Стихи	I	74
ШЕВЧУК Леонид. Таким он стал. Рассказ	II	52	УКАЧИН Борис. Врач. Стихи	I	72

ПОЭЗИЯ

АКИНЬШИНА Ольга. Утро в лесу. Начало зимы в деревне. Стихи	III	56	ЧЕПЧУГОВ Геннадий. «Мне забавное вечно по нраву...». «Тучка-летучка...» Стихи	I	73
БАЙБУЗА Николай. Письмо. Август. Стихи	III	67	ШЕВЦОВА Ида. Брови гор. «Уехал, не попрощавшись...». «Луна-пржектор...». Стихи	I	65
БАННИКОВ Николай. Собаки. «Где ржавый лист засыпал след лосиный...». Плоты. Стихи	I	26			
БАШУНОВ Владимир. Заморозки. Осенний этюд с птицей и всадником. Отшельник. «Привычно к началу работы...». Старик. «И в наши дни живут размеры...». Стихи	III	3			
БЕЛЕК Диман. Деду, погибшему на войне. Стихи	I	74			
БУРАВКИН Геннадий. «Под ветрами сгорбились пригорки...». «Сильней всего люблю я волю...». Стихи	II	4			
ВЕТЛУГИН Иван. Коса. Главные цвета. Стихи	I	58			

ЩЕТИНИН Дмитрий. Спойте, солдаты. Раздумье. «Память разборчива...». «Ехали доярки...». Дорожное. Стихи	I	45
ЮДАЛЕВИЧ Марк. Достоевский в гостях у барнаульского купца. Как рабочий поэт Тачалова спас. Стихи	I	67

ОЧЕРКИ, СТАТЬИ

БУБЕННОВ Михаил. Сыновнее чувство. Статья	I	28
КОВАЛЕВА Людмила. Сын земли. Очерк	II	67
КОМАРОВ Владимир. Легендарный главком. Очерк	IV	63
КОПТЕЛОВ Афанасий. Слово о богатырском крае. Статья	I	3
ЛИСОВСКИЙ Казимир. Горы Алтая, горы Алтая. Статья	I	47
МАЙОРОВ Юрий. Встречи за океаном. Очерк	III	82
НЕВСКИЙ Александр. Наш добрый сосед — Монголия. Очерк	II	72
ОЛИФЕРОВСКИЙ Иван. Уймонские портреты. Очерк	IV	53
САБЛИН Иван. Ранние произведения В. И. Ленина на Алтае	II	80
СВИРИДОВА Эльвира. Степное. Очерк	III	73
СЕРЕБРЯНЫЙ Виктор. Хлеб и слово. Очерк	II	76
СЛИПЕНЧУК Виктор. Истоки звонкоголосой Чуи. Очерк	III	79

ЛИТЕРАТУРА, ИСКУССТВО

БУТАКОВ Александр. Алтайскому книжному издательству — четверть века. Статья	I	103
ГОРДИЕНКО Юрий. Слово об отце. Статья	I	88
ДВОРЦОВА Татьяна. Артем Стригунов и другие. Статья	I	102
КВИН Лев. Первый фельетон Виллеса Лациса. Статья	I	92
КОНДАКОВ Георгий. Демьян Бедный — переводчик алтайской легенды. Статья	I	104
КОНДАКОВ Георгий. У колыбели песенного слова. Статья	IV	59
КРАСНОВ Александр. Прометей революции. Статья	II	86

НЕЧУНАЕВА Ольга. Алексей Новиков-Прибой. Статья	I	78
НЕЧУНАЕВА Ольга. Алтайское Лито. Статья	IV	70
ПОСТНОВ Юрий. Литературная жизнь Барнаула в годы гражданской войны. Статья	I	94
СЕРЕБРЯНЫЙ Виктор. Обеспечено жизнью	IV	68
ФОНЯКОВ Илья. Живая вода поэзии. Статья	I	69
ЦЕСЮЛЕВИЧ Леопольд. Мастер пейзажа. Статья	II	88
ЦЕСЮЛЕВИЧ Леопольд. Художники книги. Статья	III	107
ЮДАЛЕВИЧ Борис. Сибирь — земля литературная. Статья	II	83
ЮДАЛЕВИЧ Борис. «Да» плюс «нет» Василия Шукшина. Статья	III	91
ЯНОВСКИЙ Николай. Из ранних сибирских рассказов и очерков Вячеслава Шишкова. Статья	III	73

ПУБЛИКАЦИИ

ГОРДИЕНКО Петр. Ябоганскому колхозу. Ветер. Партизан. Дочь партизана. Стихи	I	89
ЛАЦИС Виллис. Село Латвийское. Фельетон	I	92
НОВИКОВ-ПРИБОЙ Алексей. Шалый. Рассказ	I	79
ШИШКОВ Вячеслав. Теща. Рассказ	I	75
ШИШКОВ Вячеслав. Любителям красот природы. Очерк	III	99

САТИРА И ЮМОР

ПРОКОПЧУК Михаил. Везут шпалу. На утренней зорьке. Стихи	IV	72
СЕРЕБРЯНЫЙ Даниил. Подводные камни. Тепух. Страничка из дневника. Рассказы	III	111

ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

НЕЧУНАЕВ Василий. Сказка о заводной лягушке. Стихи	III	114
УШАКОВА Татьяна. Времена года. Стихи	IV	73



Современная тройка.

Цена 40 коп.

В 1974 году в альманахе

„АЛТАЙ“

будут опубликованы:

Мargarита ДОВБЕНКО «Прощай». Повесть
Николай КОРНИЕНКО «Зал ожидания». Повесть
Николай ПАВЛОВ «Морозы и ветры». Повесть
Виктор Слипечук «Зеленой улицей». Повесть
Евгений ГУЩИН «Новая повесть»
Николай ДВОРЦОВ «Дважды жить не дано». Пьеса

Рассказы Петра Бородкина, Льва Кеина, Ивана Олиферовского,
Виктора Попова, Ивана Романо, Виктора Сидорова, Петра Старцева,
Николая Чебаевского.

Стихи Аржана Адарова, Владимира Башунова, Фридриха Больгера,
Геннадия Володина, Владимира Казакова, Лазаря Кокышева, Эвальда
Катценштейна, Леонида Мерзликина, Эркемена Палкина, Геннадия Па-
нова, Паслея Самыка, Владимира Сергеева, Бориса Укачина, Николая
Черкасова.

Постоянными будут в альманахе разделы «Очерки и публицистика»,
«Из прошлого нашего края», «Критика и библиография», «Сатира и
юмор», «Для самых маленьких».